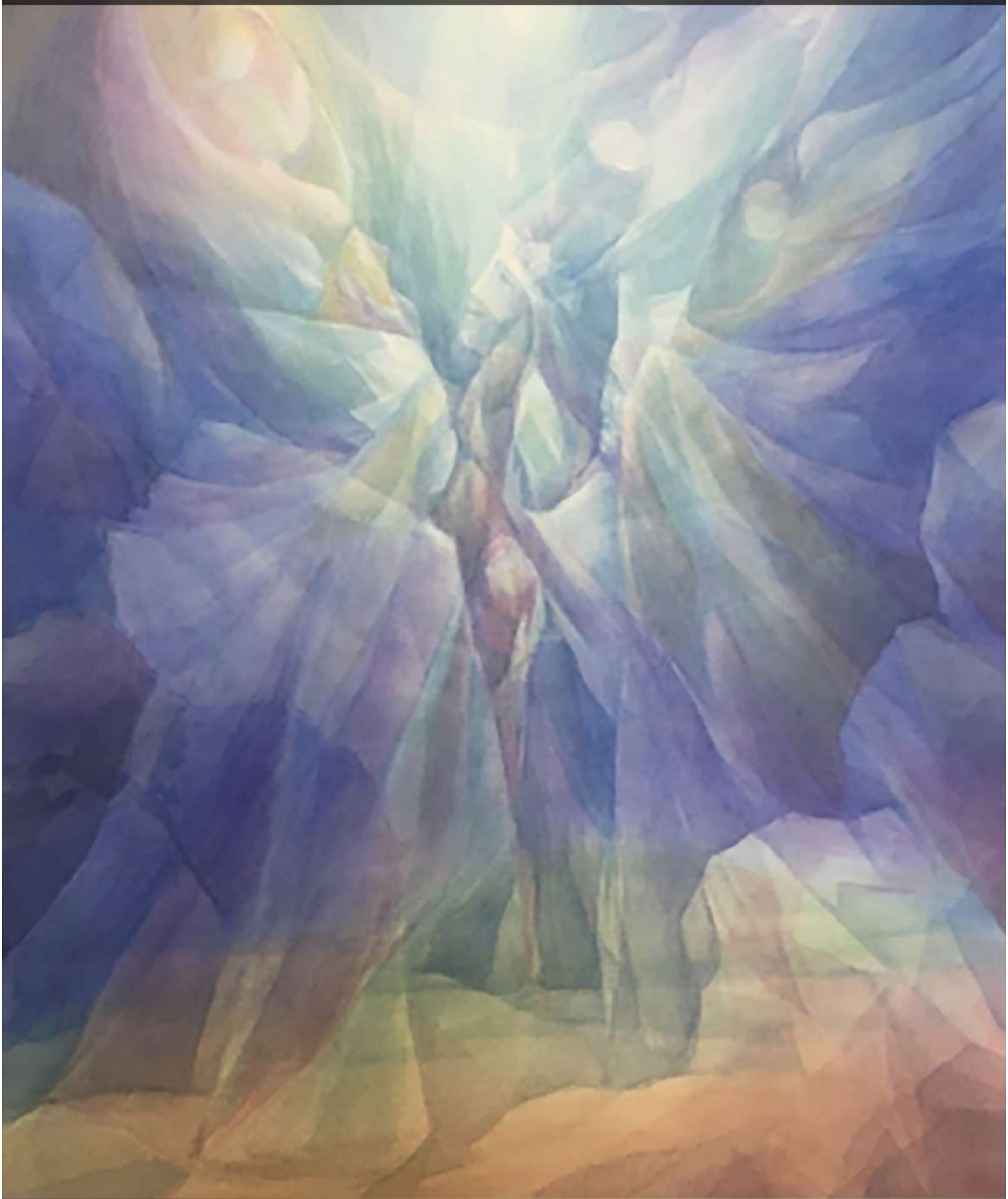
Ольга Рёснес

Нерожденный



Ольга Рёснес

Нерожденный

роман

Содержание

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

66
67
68

1

Ранней весной, вступая в сладкий сон жизни, земля выдыхает выстраданные зимой мысли в прохладные ещё небеса, обретая солнечную ясность своего таинственно скрытого в глубинах существа, и жизнь отвечает земле безудержной силой прорастания, роста, цветения.

Здесь, на исхлестанной апрельскими дождями украинской равнине, задымленной гарью взорванной, брошенной как попало техники и всё ещё полыхающих хат, нет больше никаких обязательств перед жизнью у всё ещё живущего, загнанного судьбой на самый край безответного вопрошания: зачем?

В автомате есть ещё заряд на две-три очереди, тот самый ресурс, что определяет в конце концов смысл прожитого на войне дня. Ресурс смерти для кого-то другого. И пока сам ты ещё здесь, в этом крепком, двадцатипятилетнем теле, достойно упакованном в бронежилет и пятнистую униформу, надо отдать эти две-три очереди ближайшему — хотя враг теперь везде — врагу, попутно послав ему, тут иначе не скажешь, братский привет. Оно ведь на самом деле так: от кровного родства никуда не денешься, разве что вытащить себя из опьяняющей алости крови, из бурлящих в ней животных вожделений, тем самым став легче, прозрачнее, чище. Но разве так побеждают в войнах? Сгущённое до вязкого, липкого патриотизма чувство справедливости, слепая неразборчивость ожесточённой безмыслием воли, отказ от самой мысли в пользу кричащего лозунга — на этих ступенях победы распростёрт ты сам, каким тебя сделало время и твоя подчинённость сиюминутности. Так побеждай же, тем более что ты намного сильнее врага, который тебе к тому же ещё и брат.

Последние пули, а дальше — ползком, как учится передвигаться младенец, на локтях, по-змеиному гибко, всем телом прижимаясь к земле. Земля же, как мать, лишь мягко под ним стелется, загодя пряча свои ухабы и рытвины, камни и обгорелые пни... земля малороссийской русской окраины.

Оставив несколько патронов, Филя прислушивается, рывком оглядывается: там, возле самого леса, там он и завис, проклятый украинский беспилотник ... хотя нет, поворачивает сюда. Не убежать, не уползти. И думать ни о чем уже не надо... да вот он, теперь уже рядом! Разъедающий слух скрежет. Высматривающий добычу глаз.

Здесь полно мертвых тел, по ним эта штука не бьёт, и быть живым теперь — своего рода кураж, последнее что-ли удовольствие, да, последнее... Высматривающий малейшее движение, глаз беспилотника ощупывает дуло автомата, шлем, плотно зашнурованный ботинок, и несколько пуль обжигают ребро и что-то внутри, гася вместе с сознанием готовое уже отозваться страхом беспокойство. «Классный дрон...» — успевает подумать Филя, и

темнота уносит его прочь.

Разве смерть и сон не состоят в странном родстве? Тело лежит в постели или неподалёку от окопа, а сам ты где-то ещё, вместе с уставшей от дневных невзгод и препятствий душой. В постель ты, конечно, вернешься, неся заждавшемуся телу утреннюю свежесть и бодрость, тогда как к окопу обычно не возвращаются, тем более что никто тебя там не ждёт. И если сон оставляет телу жизнь, то смерть её уносит, вырвав из тела усилием души, растворяет жизнь в необъятности небесных высей. И кто же способен пройти через сон или смерть в полном, трезвом сознании?

Первое, что видит Филя — видит не глазом, но теперь уже выскочившей из тела душой — это его собственное, лежащее ничком на земле тело, в бронежилете и с автоматом, в той самой позе, в которой его обожгли пули беспилотника. Оно теперь внизу, в метрах десяти от него самого, неподвижное, застывшее, и он запоминает эту беспомощную позу, эту незащищённость и уязвимость. Он видит себя, убитого. Но в следующее мгновенье уже ничего нет, есть только он сам... Теперь уже сам по себе, налегке, без боли и беспокойства, он переживает лишь радость внезапной свежести и лёгкости, ощущая себя самого в молниеносном движении мысли, теперь уже способной унести его в любые дали. Он видит золотое свечение вспарывающей темноту кометы, и это звёздное существо ему знакомо, это же он сам! Он смотрит на себя со стороны, он здесь и в то же время там, в отделившейся от него душевности, в которой сам он по-прежнему живёт, со всеми своими мыслями и волей. Он тут не один, в этом пока ещё тёмном для него мире, со всех сторон к нему несутся золотые точки иных жизней, спеша оказаться с ним рядом, словно желая увлечь его душевность в свою сияющую звёздность, и как ему теперь устоять, не броситься им навстречу, не унестись вместе с ними прочь от самого себя... Но в нём самом есть что-то, превышающее яркость несущегося к нему золотого крошева: в нём самом есть солнце! Едва ли заметное там, внизу, где осталось, с автоматом и в бронежилете, его тело, это солнце как раз и устраивает, день за днём, его жизнь, отражаясь в его мыслях, чувствах и воле. И теперь это солнечное «Я» гонит его обратно вниз, где осталось лежать под дождём его тело, гонит обратно в безнадёжность и боль, в холод и неустроенность. Туда, где завис над мертвыми телами украинский дрон, где теплая ещё рука сжимает усталый автомат, где слева под ребром осталась отметина смерти.

Пролежав без сознания трое суток, Филя наконец приходит в себя, пока ещё не зная, жив он или все-таки умер. Безлунная ночь, грохот, вой, скрежет, и он ползёт, сдвинув на спину автомат, то и дело замирая от истощения, слизывая с травы холодную росу. И только добравшись до своего окопа, он поднимается, идёт, пошатываясь, в перевязочную.

2

Первым делом его осматривает фельдшер, смазывает чем-то «царапину» на левом боку, и поскольку Филя пришел своим ходом, отправляет его посидеть в «лазарет», пока идёт отправка в госпиталь тяжелораненых. Один из немногих уцелевших в селе домов, «лазарет» то и дело становится доступной для дронов целью, но всякий раз кто-то из ребят сбивает «птичку» из охотничьей двухстволки, хотя такая охота инструкцией не предписывается. В доме тесно стоят походные койки, на бывшей кухне перевязочная, тут же чёрные мешки для умерших.

Сев на жёсткий, с пятнами крови, матрас, Филя неспеша оглядывается: забинтованные ноги и головы, страх и неуверенность на небритых, серых лицах. Но что-то другое примешивается к этой обычной для «лазарета» картине: над каждой койкой висит, словно паря в воздухе, уродливый призрак страдания и боли. «Должно быть, я спятил», — думает Филя, пытаясь отвести взгляд от тошнотворной, бесстыдной картины разложения, но гадкий призрак никуда не уходит, как ни крути головой, как ни закрывай глаза, он словно впивается в мысли, высасывая из них волю, вгоняя в них страх. Протерев краем простыни глаза, Филя приказывает себе очнуться, шевелит пальцами рук и ног... нет, это ему вовсе не кажется: его зрение стало двойным, схватывающим то, что снаружи, и то, что внутри. И словно его дразня, уродливый призрак тут же хвастливо выдаёт свою тайну: он живёт в каждом, внедряясь в тело незадолго до рождения и покидая его незадолго до смерти. И каждый мается, как может, с этим своим двойником, куда более интеллигентным, чем он сам, подчиняясь воле этого двойника, воле к смерти.

Закрыв глаза, Филя старается отделаться от вида этих мучений, но всё же видит: нелепые существа алчно вгрызаются в измученное болью воображение раненых, добавляя к неуверенности и страху чувство жгучей вины, и никто из них толком не знает, в чём она, эта вина. «Их гложет далёкое прошлое, — неожиданно для себя заключает Филя, — настолько далёкое, что уже не умещается в этой их жизни, указывая на жизнь предыдущую, о которой никто из них не догадывается... на многие, многие прожитые ранее жизни. И это прошлое выплёскивает теперь на каждого своё недовольство, попрекая так и оставшимися без осмысления поступками, становясь жадным, требовательным кредитором». Он пробует лечь, но в левом боку колет, да что там такое... он вслушивается в ровные тоны пульса, и сдаётся ему, что там, возле самой диафрагмы, застряла пуля.

Он долго учился на врача, целых шесть лет, и все эти годы его старательно убеждали в том, что человек всего лишь умное животное, рассудительный скот. Нередко он и сам готов был в это поверить, видя, как просто устроен жизненный распорядок института: плати и тебя будут считать человеком. Этот распорядок действует в каждом с точностью инстинкта, его невозможно объехать или отменить, его можно лишь... понять. Инстинкт вбивается в башку каждого медика учительствующим авторитетом: он так сказал. Сказал так, поскольку сказать было нечего. И не надо задавать лишних вопросов, надо... верить. Верить в то, что врачу вовсе не обязательно иметь желание вылечить больного, достаточно научиться писать истории болезни.

Проходит еще два дня, медбрат приносит курево. А вот и фельдшер, ездил в Белгород, едва не наступил на упавший с неба «лепесток», и прямо к Филе.

— Как ты? Вижу, вполне здоров, хватит тут валяться.

— У меня в сердце пуля, — спокойно, будто ни о чём, сообщает Филя, — в правом желудочке.

— Да ты чё? Во даёшь! — фельдшер толкает Филю в плечо, — Пришёл своим ходом, пятый день прохлаждаешься, жрёшь, как и остальные. Тебя чему в институте учили? Пуля в сердце — мгновенный кирдык, врачу уже делать нечего.

— Однако в сердце у меня пуля, — упрямо повторяет Филя.

— С чего ты взяд? — теперь уже осторожно, как и надо говорить со свихнувшимся, интересуется фельдшер.

— Я это вижу, в правом желудочке.

Те, что на койках, с интересом слушают, и наконец тот, что с перебитой ногой, подводит общий итог:

— Фильку шарахнуло по башке, теперь он контуженный и имеет право нести любую ахинею.

На койках одобрительно кивают, но фельдшер всё же распоряжается:

— Завтра поедешь в Белгород, что они там скажут.

Услышав от Фили, что пуля в сердце ему видна не хуже, чем стакан на столе или фикус на подоконнике, дежурный врач пристально смотрит ему в глаза, а там — спокойная уверенность, будто всё так и есть. Черт его знает, как оно на самом деле. Бывает ведь, туберкулёзник в последней стадии является своим ходом на приём...

— На рентген, — сухо распоряжается врач, а сам подмигивает другому врачу, и оба знают: среди молодых солдат полно психов.

Но когда лаборант приносит снимок, оба врача недоумённо друг на друга смотрят: в правом желудочке застряла пуля. А ведь прошло уже пять дней!

— В операционную! — орут оба одновременно, и Филю укладывают на каталку.

3

Общий наркоз уносит сознание к той границе тьмы, за которой начинается полная неизвестность. Тьма, это всего лишь обычное, с упором на рассудок, отношение к миру, простирающемуся гораздо дальше того, что видит глаз. К тому же тьма — это надежная защита слабого, незрелого ума от слишком поспешной разумности, сметающей, как мусор, обжитые привычкой,

пригретые ленью мысли. И что же стоит на страже этой тьмы, как не твоё собственное недомыслие?

Здесь, на пороге, нет никаких «до» и «после», здесь заявляет о себе некогда дарованная Творцом часть Его собственной субстанции, искра несотворённости, не подлежащая ни рождению, ни смерти: «Я сам». Солнечная сила этого дара высвечивает на самой границе тьмы твой будущий облик, каким ты однажды станешь, сбросив с себя обузу нечистых устремлений и эгоизма. Но в силах ли ты вынести сияние своего будущего?

Теперь у Фили нет никаих сомнений: он был всегда, был в лоне божественных мыслей, ввергнутый в земные испытания, призванный снова вернуться к Творцу, теперь уже своими силами. И сейчас, пока над ним склонился хирург, пока наркоз удерживает его вдали от всякого интереса к своему телу, он должен осмелиться, решиться... решиться переступить порог.

Он здесь не один, с ним многие другие, и чем пристальнее он всматривается в вереницу окружаюших его сущностей, тем дальше уходит в неизвестность само начало его земного пути, сливаясь в своей солнечной отдаленности с невинно цветущей в гиперборейском саду, райской жизнью. «Так много жизней пришлось мне пройти, прежде чем я добрался сюда, — с изумлением думает Филя, — так много еще впереди...» Среди подступающих к нему сущностей он замечает что-то родственное себе, совсем уже близкое, недавнее: изможднную фигуру странника, увядшее лицо старика, таким он сам когда-то был. В своём прежнем обличии, он бродил по заросшим вереском северным пустырям, собирая лечебные травы, и всё, что незримо таилось в природе — гномы, ундины, эльфы, саламандры — всё было дружелюбно обращено к нему, в стремлении уйти из вязкой зачарованности законов природы. Он научился понимать их язык, вникать в их судьбу, и каждый миг такого понимания высвобождал их из плена жёстких природных законов.

Этот собиратель трав, аптекарь, знахарь, готов теперь поведать Филе многое, о чем не желает знать медицина, и всё это можно забрать с собой, вернувшись к привычной тьме рассудка. И тут же, следом за странником, к Филе приближается похожая на него самого женщина, и в её пламенеющем волей взгляде ему открывается тайна глубочайших слоёв земли, где заперт, в своей ненависти к миру, антихрист. И следом за ней мальчик, он умер слишком рано, успев унести с земли картину соответствия планет и внутренних органов, и эта космическая анатомия обещает ответить на безответные вопросы хирургов. Эти трое умерших обращены теперь к Филе с особым пристрастием: они были ближайшими ступенями к тому, чем сам он стал.

И снова тьма принимает его в свои цепкие, душные объятия.

Он видит озабоченное лицо хирурга, видит лежащую на стекле пулю, и слабая улыбка позволяет ему обойтись без слов благодарности. Его вернули оттуда, из-за порога, вернули из его нерождённости.

— То, что ты выжил с пробитым сердцем, само по себе чудо, — деловито поясняет хирург, — никаких объяснений этому нет, это какая-то странная случайность.

— Будь сердце и в самом деле насосом, гонящим по телу кровь, — устало произносит Филя, — оно бы тут же остановилось, продырявленное пулей. И даже если сердце и подгоняет ток крови, этих толчков недостаточно, чтобы обеспечить потребности тела, кровь гонит по телу нечто незримое, оно же гонит соки растения от корня к верхушке: незримое тело жизни, пронизанное солнечной силой. И само оно подчиняется космическим ритмам души, так что сердце вовсе не насос, но золотая ритмическая середина между разрушительным актом мышления в голове и восстановительным актом обмена веществ...

— Ты пока отдохни, — перебивает его хирург, — не думай о всякой чепухе, через неделю поедешь домой, а там видно будет.

— Вернусь к ребятам, — уверенно произносит Филя, — заодно проверю, как устроен этот проклятый дрон.

Он так устал, он был так далеко.

4

Мать встречает его тревожным известием: ему пишет отец. Пишет не из соседней деревни, но как раз оттуда, где хотят вести эту украинскую войну вечно, до полной переделки глобуса в американоговорящий дурдом на бандеровском кладбище.

— Что у него нового? — без всякого интереса произносит Филя.

Последний раз отец приезжал в Белогорки пару лет назад, а до этого появлялся каждый год, проводя с Филей ровно неделю. Он давал матери деньги, оплачивал ипотеку на дом, иномарку, институтское образование Фили. Но теперь границы захлопнулись, миром правит скука и неприязнь к соседу, и всякий, у кого есть родня за бугром, начинает бояться самого себя.

— Он хочет, чтобы ты приехал, он оформляет на тебя дом, ведь ты его первенец, а сам он, похоже, очень болен.

— У него есть ещё кто-то? — всё так же безразлично произносит Филя.

Мать молча пожимает плечами, отворачивается, ей ведь тоже всё равно. Так и не выйдя замуж, она торчит целыми днями в школе, в своём директорском кабинете, так ей удобнее распоряжаться своим одиночеством. Давно для себя решив, что нет в мире места лучше Белогорок, с заросшими шалфеем меловыми холмами и тихой, над белым каменистым дном, речкой, она никуда больше не ездит, она вся тут, на огороде, в курятнике, в саду с яблонями и вишнями, и каждый в Белогорках — её бывший ученик. Хотя ведь в

молодости и побывала там, куда многие всё ещё так рвутся, в красиво доживающей свой век Европе.

— Он оформил отцовство, теперь можешь мотаться к нему, — равнодушно продолжает мать, — даже можешь там жить.

— Вернусь на фронт, в медчасти нужен врач, но пока я в отпуске... — Филя вопросительно смотрит на мать, — я, пожалуй, съезжу...

Турецкий самолёт вывозит из Москвы шипучую пену недовольства, безделья и лени, возвращая обратно унылую озабоченность: куда теперь-то?.. в сонное евразийское довольство едой и тряпками?.. в азиатскую одержимость работой? Существуя лишь в подмёрзшем воображении идеолога, Евразия примеряет на себя пафос орды, готовой, если что, растоптать Европу, почти уже ослепшую от собственной толерантности к разложению.

И турок знает: чтобы прицепиться к Европе, достаточно впустить туда хотя бы одного турка Впустить жадное, нетерпеливое стремление перехватить у Европы её же бессонное трудолюбие, её же бесстыдную скупость. Турецкий Пегас живёт вовсе не поэтическим воображением, но твёрдой валютой, и счастливо запертые европейские границы кормят турка жирнее халвы и лукума. Хочешь лететь с севера на север, лети сначала в Стамбул.

На этом холодном северном полуострове, с видом на остальную Европу, турки как у себя дома. Бросив в Стамбуле жён и детей, они рванули сюда, на нефтеносный север, ради долгожданной встречи с девушкой, что на тридцать лет старше, но зато с приданым: видом на жительство и паспортом. И уж потом, отбыв занудный пятилетний предпаспортный срок, турок везёт на Пегасе заждавшихся дома жён и детей, попутно торгуя халвой и рахат-лукумом, и так ему, турку, сладко, сладко...

Отец уже высматривает Филю в толпе. Им нетрудно друг друга узнать: оба рослые, светловолосые, невозмутимо спокойные. И слов тут много не надо, пожали друг другу руки, пошли на парковку. У них между собой английский, Филя научился от матери. Опираясь на палку, отец, хотя ему едва лишь за шестьдесят, не стесняется быть стариком, и Филя догадывается, что дело тут в таблетках, без счёта запиваемых пивом и кофе. Как раз с них-то, ненадолго уносящих боль, и начинается, собственно, старость, нежелание внимать незримо таящимся в теле силам жизни. И поскольку таблетки никого ещё от смерти не спасли, всё ещё живущему становится ясно: так жить дальше нельзя. Дотащившись до парковки, отец устало поясняет:

— Ревматизм, мне осталось недолго, да и надоело уже видеть везде одно и то же: нищета, работа за жратву, вожделение к деньгам... Ты ведь знаешь, я не беден, у меня фабрика, поместье, земля, но мне всегда не хватало воздуха, высоты... — он с трудом залезает в кабину, — не хватало доверия к самому себе, хотя другие бывали мной довольны. Другие... — раздражённо бормочет он, — да кто они такие...

Однако руль он держит крепко и любит скорость, почти не сбавляя её перед окошком глотающего мелочь блокпоста. С какой ненавистью швыряет он

монеты сонному, за окошком, вахтёру!

— Везде одно и то же, — безнадёжно выдыхает он, — деньги, сытые дьяволы, никчёмный успех...

— Невзгоды укрепляют нас, если мы сами того хотим, — осторожно замечает Филя, — никакого другого смысла в них нет. Натыкаясь повсюду на препятствия, можно ведь придать себе форму прекрасного кристалла, оттачивая каждую грань, а можно в одночасье сломаться... Я был на войне.

— Знаю, — сухо отзывается отец, — русские всегда с кем-то воюют. Русским нужны великие победы, много-много великих побед... — он хрипло смеется, — иначе русский захлебнётся в своей необузданной, бунтарской воле. И эта русская незрелость по-своему таинственна и прекрасна, в ней есть нечто свежее, юношеское... — он поддаёт ещё скорость, нырнув в гранитную пасть туннеля, — И хотя в этой войне русские непременно победят, я охотно помогаю их врагам, да, делаю деньги, я не лучше и не хуже других.

Свернув на просёлочную дорогу, он сбавляет скорость, мимо неспешно плывут начинающие колоситься поля, молодой березовый лес с торчащими тут и там пнями, и впереди белеет среди рододендронов и туй громоздкое здание усадьбы.

— Теперь это твой дом, — не выходя из машины, поясняет отец, — твоё гнездо.

Вдохнув прохладный, пахнущий травой и спеющим зерном воздух, Филя думает о матери: она ведь могла быть счастлива здесь.

5

В доме давно уже поселилась пустота. Комнаты, коридоры, лестницы — везде словно что-то потеряно да так и не найдено, хотя отовсюду тянутся, словно прося милостыню, нити воспоминаний: она всё ещё здесь, здесь... Инна. Разве не странно, что мать Фили, строгая директриса сельской школы и усердная огородница на удобренном навозом участке, в молодости угодила именно сюда! В старинную, давно уже благоустроенную усадьбу, счастливо избежавшую коварства модернизаций, всё ещё дышащую благородной размеренностью девятнадцатого века. И только слепой, скрюченный, как и хозяин, ревматизмом кот все ещё ищет хозяйку, принюхиваясь к едва уловимому запаху оставленного в шкафу белья... он едва ли доживёт до полных двадцати пяти. Возраст её отсутствия.

Неподалёку от дома гостевая дача, со спальней на чердаке, и Филя решает устроиться там, не желая постоянно быть у отца на виду. Хотя ведь Кнут не сидит дома, целыми днями торчит на своей фабрике, будучи одновременно главным инженером, технологом и владельцем, и только вечером, грезя перед телевизором о тех же своих дневных делах, рассеянно сообщает Филе,

когда приходит уборщица, меняющая коту песок, когда приносят из ресторана ужин. Сам же Филя набрёл среди дня на склад всякой техники в просторном, размером с многоквартирный дом, гараже: несколько легковых машин и лодок, трактор, экскаватор, снегоход. Среди машин — пара американских, роскошно длинных, с откидным верхом, и видно, что на ходу, только сесть и нестись, всем на показ, на пару с молодой дамой, изящно придерживающей английскую шляпу. Что касается лодок, то любая из них запросто обойдёт Европу, комфортно предоставив счастливчику спальню и душ, гостиную и солярий. Одна из лодок — деревянная парусная яхта, тут нужен долгий опыт и склонность к авантюрам, нужны к тому же силы, но Кнуту уже всё равно. В самом углу гаража, возле набитого пивными банками мешка, тихо покоится старый деревянный ялик, давно уже никому не нужный, хотя парус тоже тут, и мачта, и руль. Лёгкое, подвижное судёнышко, готовое в любую минуту хлебнуть боком воду, а то и просто перевернуться, показывая чайкам своё, с облупившейся краской, дно. Этот ялик хорош уже тем, что никто не станет горевать о его потере, и в случае чего можно тащить его волоком вдоль берега, назло встречному, с дождём, ветру. Осмотрев парус и руль, Филя тут же решает спустить ялик на воду, тут рядом безлюдный птичий фьорд, с весны до осени населённый гусиными и лебедиными стаями, и ветер как раз подходящий. Ветер с юго-востока, должно быть, из России. Но пока ялик ещё в гараже, можно ведь кое-что изменить, советуясь с плывущей против течения рыбой, выманивая секрет у радужно раскрашенного лосося, взбирающегося вверх по бурлящим горным ручьям. Сидя на мотке каната, Филя гасит в себе все мысли, опустошая расчетливый рассудок, и словно прорвавшись сквозь пёстрый ковёр чувств, к нему подступают яркие, непрерывно меняющиеся образы, словно само время изливает себя в них, и только к вечеру тайна радужного лосося становится Филе понятной. Теперь этот ялик начнёт новую жизнь, куда более авантюрную, чем прежде. Весь следующий день Филя не выходит из гаража, осваивая валяющиеся на полках инструменты, и когда ялик, став рыбой, был уже готов к отплытию, ставит на корме трехцветный флажок, не оставлять же рыбу безымянной.

6

Серые гуси не принимают всерьез тарахтящие вдоль берега моторки, зная, что всё тут для них, серых и перелётных: клеверные поля, коровий навоз, усыпанный морской капустой и мелкими ракушками берег. Но этот, с поднятым парусом, ялик здесь явно чужой, дерзко захватывающий солнечную гладь фьорда. Так легко может скользить по воде разве что гусь или лебедь, составляя с водой единое целое и потому, не зная никаких препятствий. И серый вожак подаёт стае знак: всем подняться в воздух.

Чем дальше от берега, тем яснее звучит этот зов: скорость!.. скорость! Там, где фьорд распахивается вширь, виден другой парусник, спортивная яхта, и

Филе охота подойти поближе, взглянуть, и ялик несётся, вспарывая мелкую рябь, и волна то и дело перехлёстывает через борта. Поравнявшись с яхтой, он видит сидящего в шезлонге старика, в белой капитанской форме и фуражке, видит умело работающих со снастями матросов, и ялик несётся дальше, с легкостью обгоняя много парусный корабль. Бросая раскрошенный хлеб догоняющим его чайкам, Филя успевает вычерпывать совком воду, и чайки что-то кричат, кричат...

На яхте его заметили. Один из матросов сообщает капитану, что на проскочившей мимо посудине торчит трехцветный вражеский флаг, и старик смотрит в бинокль: в самом деле, флаг российский. Тут надо действовать решительно: шезлонг вместе со стариком перетаскивают в каюту, матрос с автоматом берёт на прицел дерзко нарушивший дистанцию парусник.

— Как интересно, наверняка это русский шпион! — делится с матросами радостным любопытством одетая в военную форму девчонка лет двадцати. Капитан приходится ей дедушкой, и потому ей всё тут можно, даже стрелять в чаек из винтовки и прыгать с борта в воду, — Давайте же его догоним и схватим! Ну же! Поехали!

Матросы, однако, другого мнения, им сказано только доставить старика обратно к обеду, хотя эта девчонка может, пожалуй, всё переиначить, погнав яхту по следу шпионского ялика. Что ялик шпионский, это точно: ни один нормальный ялик не ходит с такой скоростью. Тут явно какое-то коварное новшество, грозящее нарушить уверенность местных олухов в своём случайном происхождении от викингов.

— Запускай мотор, — уверенно командует внучка, — погнали!

Гоня волну до самого берега, яхта отвоёвывает у ялика незаконно присвоенное морское пространство, и только смелый манёвр и может спасти теперь шпионскую честь врага. Круто повернув руль, Филя меняет курс, ялик ложится на бок, парус уже не поднять... значит, не судьба или, наоборот, судьба: сам он оказывается среди волн. И те, что почти уже его догнали, видят шпионский спасательный жилет, скрывающий должно быть пояс со взрывчаткой...

— Втащим его на палубу, — деловито распоряжается капитанская внучка, — сдадим в полицию, но сначала... — она поочередно оглядывает матросов, — сначала он расскажет мне, как ему удалось нас обогнать.

Глядя, как ялик уходит под воду, Филя вовсе не торопится оказаться спасённым, он мог бы и сам доплыть до берега, даже с его дырявым сердцем. Тем не менее, он позволяет матросам втащить себя по лесенке на палубу, позволяет ощупать себя, вывернуть наизнанку жилет, позволяет толкнуть себя на раскладной стул. Что он им такого сделал? Его привязывают к стулу верёвкой.

7

Сев на такой же стул напротив него, капитанская внучка приступает с допроса. Из каюты вернулся дедушка, он явно обижен: никто ещё так дерзко не обгонял его спортивную яхту. Никто не смел. Пусть внучка теперь разбирается, не зря же служит в армии.

— Наша страна воюет, — уверенно начинает она, высматривая на лице Фили признаки растерянности и страха, — воюет за демократию...

— Знаю, — сердито перебивает её Филя, — я сам воевал против вас и скоро опять на фронт, а здесь у меня отец. Что тебе от меня нужно?

— Хочу узнать, почему твой ялик шёл с такой скоростью.

— Просто я не смотрю на природу мёртвым глазом фотоаппарата, — уклончиво отвечает он, — зачем тебе это знать?

— Затем, что я стану главнокомандующим нашей армией, как только мы всерьёз начнём воевать с Россией...

— Когда главнокомандующий баба, лучше сразу капитулировать, — смеется Филя, — но военная форма тебе идёт.

— Я заставлю капитулировать тебя, — холодно огрызается она, — я, принцесса Лаура!

Молча уставившись на неё, Филя прикидывает, сколько ей могло бы быть лет, ведь королевами-главнокомандующими становятся обычно в старости. И если она в самом деле принцесса, то этот грузный, то и дело спотыкающийся старик не просто ведь её дедушка, но... король! Это как раз он-то и прикармливает бандеровских попрошаек, и сам Бандера вот-вот получит нобелевку мира. У короля есть дочь, но в королевы она не годится: её подцепил наглый американский негр, а здешний народ, хоть и сытый, негра в короли не пустит. Стало быть, эта Лаура и есть следующий верховный главнокомандующий: носит военную форму, ночует в казарме в одном отсеке с парнями, стреляет из автомата. Под синим беретом у неё тугая чёрная коса, бледное лицо без следов загара, под густыми чёрными бровями дерзкая синева глаз. С такой белой, как у неё, кожей вряд ли нужны доказательства доставшейся ей голубой крови, разве что сама она станет в этом сомневаться.

Неподвижно уставившись на Филю, король думает о чём-то своём, королевском, припоминая, как ездил когда-то в трамвае и никто его, монарха, не узнавал, как путался с болтливой продавщицей из рыбного магазина, как купил ей королевскую норковую шубу... но главное, вспомнил, где видел уже это лицо, да, на крикливой обложке субботнего стостраничника «Слухи, сплетни». На обложке засветилось также лицо его внучки, и оба, он и она, объявляли себя парой, вопреки слухам и сплетням. С трудом отведя подслеповатый взгляд, старик угрюмо мямлит:

— Я сразу узнал тебя, Шура, пора кончать эти ребяческие шалости, — и уже

обратившись к матросам, — Да развяжите же вы его!

— Дедушка, как всегда, прав, — выразительно глянув на Филю, торопливо уточняет Лаура, — и сейчас мы с Шурой сядем в моторку и рванем обратно, чтобы успеть к обеду...

Став у руля, Лаура то и дело посматривает на Филю: каково ему, чужаку и скорее всего, шпиону, подчиниться её воле, воле будущей королевы.

8

Королевский причал, закрытая зона, а дальше своим ходом, кому куда надо. Едва глянув на принцессу, Филя торопливо идёт прочь, толком не зная, как теперь добраться до дома. Он всё ещё в спасательном жилете и мокрых шортах, но здесь, на берегу, никто на него не смотрит, кому он тут нужен. А ведь она отпустила его просто так, не заявив в полицию, даже думая, что он шпион. Может, попросить у неё денег на проезд? Обернувшись, он видит, что она тоже на него смотрит, да, машет рукой. Может, даст немного мелочи.

Пройдя от причала вверх по безлюдному переулку, они оказываются перед закрытыми чугунными воротами с вахтёрской будкой, дальше хода нет. За воротами белая трёхэтажная вилла в стиле прошлого века, с панорамными окнами и остро взметнувшейся крышей, поблескивающей на солнце серо-зелёным природным шифером. Сказав что-то вахтёру, Лаура тут же получает тысячу крон, отдаёт, не глядя, Филе.

— Эту виллу подарил мне дедушка на день конфирмации, — непринуждённо сообщает она, — я живу тут с Шурой и могу делать, что хочу. К примеру, позвать в гости русского шпиона.

— А кто этот Шура?

— Он, как тебе сказать... он богат! Сейчас он на Украине, скупает брошенные земли, вывозит вагонами чернозём, торгуется с американцами, выгребающими из обречённой на слом страны руду и уголь, для него война — это коммерция. Мы уже полгода как помолвлены, но мне надо сначала дослужиться до капрала...

— Но почему твой дедушка принял меня за этого... Шуру?

Лаура отводит взгляд, словно внезапно обжегшись. Она пока ещё не решила, как ей поступить с этим русским шпионом, в одном только она уверена: в нём есть какая-то тайна, узнать которую она, будущая королева, непременно должна.

— Мало ли что может дедушка сболтнуть, он же король. Называл же он мою бабушку произведением искусства, хотя она была всего лишь продавщицей в рыбном магазине. Так же как он называл мою маму ангелом, хотя она сбежала с негром в Америку, доведя моего папу до самоубийства.

Взяв впридачу визитку с королевским гербом, Филя идёт, теперь уже не оглядываясь, к автобусу. «Она хочет узнать мою тайну, — думает он на ходу, — но почему? Другим это не интересно, другие проходят мимо, тем самым избавляя меня от скучнейшего приспособления к их устоявшейся норме. Другие... это почти все!»

Вернувшись домой к ужину, он молча садится напротив отца, молча накладывает себе ещё теплый, из ресторана, лапскаус, ещё не зная, как сказать отцу о потерянном ялике.

— Сегодня я видел принцессу, — просто так сообщает Филя, — и ещё короля...

Исподлобья на него глянув, Кнут сердито бормочет:

— Они тут каждый день, в телевизоре, я сразу выключаю.

Оба снова молчат, пока наконец не разсходятся, каждый в свою спальню, и светлая июньская ночь глотает отсветы дневного беспокойства.

Ещё не успев заснуть, Филя перестаёт замечать свои мысли, словно окунаясь в пустоту, и его не тревожит уже это странствие к порогу тьмы, за которым вспыхивает иное, солнечное сознание. Его суверенное, внутреннее солнце! Оно не рождается, а значит, не умирает, оно было всегда и будет, с любовью дарованное Творцом, эта частица Его Самого, этот сияющий стержень жизни, вечный, нерождённый.

9

В потоке прожитых жизней он видит оставленного в тёмном подвале ребёнка. Возле него нет ни матери, ни няньки, и только раз в день в подвал пробирается ползком глухонемой, горбатый старик, живущий в полуразрушенном, над подвалом, доме, ставит на каменный пол миску с похлёбкой, убирает нечистоты. Сквозь толстые стены подвала не проникает снаружи ни звука, и с самого рождения ребёнок не слышит человеческую речь, обречённый превозмогать молчание протяжным, болезненным воем. Так он живёт, год за годом, лакая, стоя на четвереньках, из миски бурду и не имея возможности стать на ноги: от каменного пола до потолка не больше метра, только лежать, ползать, сидеть, уткнувшись лицом в колени. Тому, кто бросил ребёнка в подвал, не стоило сомневаться в плачевном исходе этой искалеченной жизни: пленнику не суждено было стать человеком. Так было задумано задолго до его рождения, и некому было вникать в эту тайну.

Никто, кроме глухонемого горбуна, не навещает пленника, и старик, сам всю жизнь одинокий, по-своему привязался к мальчику, хотя тот только ползает и лакает, как щенок, из миски. Старик ещё не ослеп, чтобы не заметить обращённый к себе пристальный взгляд, в котором угадывается, о, ужас, понимание происходящего. Этот жалкий заморыш знает, почему он здесь. И

горбун мысленно утешает его, и так, в мыслях, между ними возникает доверие, и старику порой кажется, что это и есть любовь, искренняя и бескорыстная. Иногда он устраивается полулёжа возле мальчика, и тот ластится к нему, как щенок, и старик гладит его спутанные белокурые волосы, хотя прикасаться к пленнику ему строго запрещено. Порой ему удаётся подслушать, о чём пленник думает, и всякий раз оказывается, что этот искалеченный ребёнок... полон жизни! В нём словно бурлит и просится наружу поток царственно возвышенных мыслей, проникновенно чистых, как струящиеся от звёзд силы роста, и мощь этой незримой жизни вызывает у горбуна восхищение и страх. Ребёнок пришёл в мир явно с какой-то особой, великой миссией... пришёл в этот тёмный подвал. И всякий раз, когда мальчик улыбается чему-то нездешнему, своему, старику становится ясно, что пленник попросту не замечает своей ужасной тюрьмы.

Горбун давно уже догадывается, почему мальчик здесь, и чутьё глухонемого подсказывает ему, что судьба, зажатая в тиски чужой, изощрённо злой волей, непременно возьмёт своё. Только ему, глухонемому, и могли доверить присмотр за пленником, и сам он поклялся служить за гроши до самой своей смерти. Но что значит клятва для нищего, презираемого всеми калеки?

Так проходит двенадцать лет, и как-то ранним утром, ползком пробравшись в подвал, горбун осторожно берёт мальчика за руку, и тот смотрит ему в глаза, и словно молния поражает старика, выжигая глухоту и немоту: вот он, заветный миг его судьбы! Перестать быть нищим калекой, сделать что-то по-своему, пренебрегая запретом, отбросив повиновение и страх. Отодвинув закрывающий вход в подвал камень, горбун вытаскивает ребёнка наружу. Что делать дальше, он не знает, он ведь всё уже сделал, и мальчик, не умея ходить, неуклюже ползёт, сам не зная, куда. Теперь и горбуну, нарушившему страшную клятву, остаётся лишь исчезнуть, пропасть.

Через заброшенный двор спешит на первый утренний вызов врач, хотя спешить к беднякам вовсе не обязательно. Заметив ползающего по траве ребёнка, он тут же решает, что мальчик бесхозный, и что же с ним, калекой, делать... Он смотрит ребёнку в глаза, а там... проникновенная, сияющвя доброта! Откуда он, такой, взялся? Тшедушный, скрюченный, немытый. Он только мычит и подвывает, но его взгляд говорит так много, взгляд, выдающий высокую разумность и сообразительность. Что таится в этом искалеченном теле?

Забрав ребёнка к себе домой, врач с удивлением обнаруживает, что ребёнок его понимает. Ему с трудом даются слова, но воля его безгранична, и уже скоро врачу становится ясно: этот ребёнок — особенный. С каким упорством он учится ходить! И всё, что он видит — домашняя утварь, цветы, деревья, птицы — всё это он встречает с любовью. «Он так доволен жизнью, — удивленно думает врач, — но почему? Не потому ли, что в каждой капле воды, в каждой букашке он видит Бога?» Он даёт мальчику имя: Теофил.

Любящий Бога.

Навещая больных, врач снова проходит через заброшенный двор, и

глухонемой горбун, подсмотревший из чердачного окошка, как врач унёс с собой мальчика, силится сказать ему что-то, мыча и жестикулируя. Врачу не впервой выслушивать глухонемых, тут важно уловить интонацию, вслушаться в ритм. Хотя этот горбун определённо сошёл с ума: калека, которого приютил врач, единственный сын короля.

В городе живёт человек, которого боятся даже те, кто никогда его не видел, а кто видел хоть раз, не смеет даже думать о торчащей на окраине города башне, откуда сочится, словно змеиный яд, не объяснимый рассудком страх. Самому же мудрецу — так называют его в городе — всё равно, что о нём думают: сидя в своей башне, он давно уже свыкся с мыслью, что приходится жить среди глупцов, и единственной его страстью остаётся власть, перехлёстывающая даже королевскую. Власть его изощрённого, тёмного ума. Он знает о будущем куда больше, чем все вместе взятые королевские советники, и его чернокнижная мудрость подсказала ему, что в королевской семье должен родиться тот, кто переиначит суть денег: ни у кого не будет их слишком много, зато у всех вместе будет их достаточно. Но куда важнее денег оказываются намерения будущего короля: искоренить чёрную магию солнечной силой сердца. Таких королей в мире быть не должно.

Нет ничего проще убить младенца в колыбели, сразу же после рождения, но это, увы, ничего не изменит: устремившаяся на землю душа непременно найдёт возможность вскоре родиться снова. Он должен жить, но так, чтобы всё человеческое в нём угасло, жить как мокрица, как жаба, без света и чистого воздуха, в тесной каменной гробнице подвала. Мудрецу же остаётся лишь терпеливо ждать, когда в искалеченном теле пленника иссякнут полученные от звёзд силы разума, когда от этой ничтожно прожитой жизни останется лишь отвращение к ней, способное удержать душу от желания родиться снова.

Украв младенца прямо из спальни королевы, мудрец долго любуется им, словно редким сокровищем, наконец-то попавшим в его руки. С каким сладострастием он искромсал бы это нежное, кажущееся прозрачным, только что появившееся на свет тело. Что может быть желаннее для чернокнижника, чем уничтожение невинной, пока ещё не от мира сего, красоты? Только бы не ускользнула она обратно к звёздам, оставив на земле тоску о себе, только бы успела увянуть и сгинуть, уступив место уродству. Он должен, этот королевский сын, пронести через смерть презрение к собственному телу и ненависть к душе, должен вернуться в звёздеый мир пустым.

Узнав, что подвальная гробница пуста, мудрец нисколько не заподозрил глухонемого горбуна в измене, слишком страшна была данная им клятва: муднец содрал бы с него кожу и ещё живого бросил бы в костёр. Так не раз уже было с другими, весь город об этом знает. Чья-то дерзкая воля высвободила пленника из подвала, тем самым бросив вызов чернокнижной мудрости. Теперь мудрец часто отлучается из своей башни, высматривая среди горожан что-либо подозрительное: весёлый нрав, спокойную уверенность в себе, добродушие. Никто не должен быть доволен жизнью,

никто не смеет желать другому добра.

Прислушиваясь к уличной болтовне — а у мудреца слух как у росомахи — он то и дело задаёт мимоходом один и тот же вопрос: не видел ли кто урода, ползаюшего как червь, способного лишь мычать. Ему отвечают шутками, и это ещё больше злит мудреца, так злит, что порой замирает в бездействии его чернокнижное сердце. Ведь у него, как и у всех остальных, есть сердце! Оно постоянно мешает ему доводить до конца начатое, и даже содранная с кого-то живьём кожа не кажется ему, как прежде, столь аппетитной. Куда лучше было бы иметь вместо сердца хотя бы горсть золотых монет... но даже чернокнижная мудрость не может справиться с этим назойливым стуком. Остаётся одно: найти какое-то снадобье у врача. Обычно с врачом мудрец даже не здоровается, не опускаться же до простонародной привычки желать кому-то хорошего дня. К тому же врач редко с кого берет плату, предпочитая жить, как и остальные, впроголодь, и какой он после этого врач... Решив заплатить ему одну медную монетку — она стёрлась так, что и не узнать — мудрец тут же бранит себя за излишнюю щедрость, взяв вместо монеты прилипший к сапогу сухой лист. Врачу, считай, повезло: мудрец оторвал что-то от себя.

Ешё не постучав в дверь, он видит: возле дома поливает розы прихрамывающий, хрупкого сложения подросток. Ему явно нравится это занятие, он что-то напевает, лицо его в обрамлении золотистых локонов светится нежностью и смирением. Обернувшись, мальчик произносит с улыбкой:

— Зачем ты здесь, мудрец? Я ведь тоже злесь, я знал, что ты придёшь.

— Ты... — в ярости произносит мудрец, — ты украл у меня будущее! Ты посмел родиться, посмел выжить! И теперь ты радуешься жизни, как... как ребёнок!

— Ты прав, мудрец, — спокойно отвечает мальчик, — я выжил благодаря любви, я согревался ею, ползая по холодному каменному полу, лакая из миски помои, и теперь я встал на ноги и говорю тебе это не как смертельному врагу, но как брату.

— Никто не смеет называть меня братом! И это мне, а не тебе, королевскому сыну, решать, сколько ещё продлится твоя жалкая, искалеченная мною жизнь!

Неспеша вынув из-за пояса нож, он делает шаг, другой... и мальчик идёт, прихрамывая, ему навстречу. Кровь на лепестках белой розы.

Так и оставшись стоять с окровавленным ножом в руке, мудрец видит врача, но тот на него даже не смотрит, бросившись к умирающему. Он несёт его на руках в дом, запирает дверь. Так мудреца никто ещё не унижал: для него не нашлось ни обвинения, ни наказания. Он думает об этом всю ночь, всей своей чернокнижной волей страстно призывая смерть. Теперь только смерть откроет ему доступ туда, куда устремился неумирающий, нерождённый дух Теофила. Догнать его во что бы то ни стало! Прикрепиться к его

прозрачности всей своей тёмной, чернокнижной душой!

Обоих хоронят в один день, их могилы рядом, и кто-то кладёт мудрецу в изголовье принесённый из подвала камень.

На третий день после смерти, торопливо пролистав в обратном порядке прожитую в башне жизнь, мудрец наконец-то узнаёт: всей его чернокнижной мудрости едва хватает на то, чтобы как-то оторваться от земли, ткнуться в суровую преграду тьмы, за которой едва мерцают зарницы свободной от ненависти и злобы посмертной жизни. Он неподъёмно тяжёл для неё, слишком иссушен коварством, замусорен вожделением к убийству, и не добраться ему своим ходом к своей, так мало им ценимой при жизни нерождённости. Он так и останется здесь, между землёй и небом, навсегда лишённый возможности родиться снова, облепленный своей чернокнижной ненавистью, безысходно одинокий.

Вечная родина, откуда начинаются земные странствия, вечно манящая вернуться обратно. Был ли ты, Теофил, счастлив? Был счастлив тем, что жил в своих мыслях, что встретил друга, рискнувшего выпустить его из подвальной тюрьмы, что нашёл своё имя возле щедрого сердца другого. Оно необъятно, это счастье бессамостной любви, оно вырывается из круга Зодиака в звёздные дали, туда, откуда приходит жизнь. И если жизнь обрывается в самом начале, избыток любви, которой хватило бы на долгую земную жизнь, смиренно отдаётся ангелам, и те не дадут этой любви пропасть. Они-то, ангелы, знают, как спасти никчёмно одинокого, запертого в темнице своей ненависти к миру, лишённого возможности снова вернуться на землю. Они желают, ангелы, чтобы безнадежный неудачник исправил свои ошибки и отдают ему неизрасходованную другим любовь. Убийцу спасают силы любви им же убитого, и это крайне несправедливо на земле, но справедливо здесь, в ангельской нерождённости.

10

Обнаружив себя сидящим в кресле возле окна, Филя всё ещё всматривается в хронику одной из своих прежних жизней, где сам он — единственный сын короля. Ему не нужны куцые, поверхностные рассуждения внешней науки, чтобы признать действительность того, что он увидел: глухонемой горбун, выпустивший Теофила из подвала, стал в нынешней своей жизни принцессой Лаурой. Но можно ли узнать друг друга, уже не раз пройдя через смерть? Где совершается тайная работа такого узнавания? Сон приносит из своих загадочных далей скупую правду прошлого, тут же объявляющую себя фантазией, и мало кто помнит такие сны. Дневной рассудок не в силах объять чуждый ему пейзаж, в котором причина и следствие есть только отражение скрытой работы духа. Но даже оставаясь для рассудка фантазией, скрытая работа духа непременно затронет пока ещё не готовое биться с ней в унисон сердце, напечатлевая ему таинственный ритм космоса. Так сердце становится

органом познания, учась этому у звёзд.

«Она хочет узнать гораздо больше, — думает он о Лауре, — чем только об устройстве скоростного ялика, хотя сама вряд ли это понимает, озабоченная, как и другие, вещами чисто внешними. Ей двадцать с небольшим, она принцесса, что позволяет ей безнаказанно делать всякие глупости, и как будущей королеве ей уже сейчас нашептывают о её королевском долге приструнить большого и задиристого русского соседа, и мало кому понятное слово «украина» стоит в королевском меню в качестве горячего блюда...» Он запомнил её лицо, капризно тонкие черты, тёмно-голубые глаза, кажущиеся чёрными под сердито сдвинутыми густыми бровями. Теперь, когда тянущаяся из прошлого необходимость вылилась в как бы случайную, но неизбежную встречу, им обоим вряд ли удастся просто так друг от друга уйти. Ведь хроника далёкого прошлого не поддаётся никаким поправкам: она и есть тот счёт, что предъявляет каждому судьба. И тот чернокнижный мудрец, он ведь тоже теперь где-то здесь, вновь втянутый в жизнь избытком душевных сил убитого им мальчика. И встреча с ним, увы, неизбежна. Хотя ведь Филя ничего от него не хочет, совсем ничего, он не в обиде на ангелов за то, что они передали злодею его свежие юношеские силы жизни. Он раньше не спрашивал у матери, почему она дала ему такое имя, Теофил, и это, может, только её фантазия... И разве отец, признавший своё отцовство лишь двадцать с лишним лет спустя, тайком не заботился о нём всё это время? Никто никогда об этом не узнает, и сам Кнут не потребует обратно свою молчаливую, сосредоточенную любовь.

Теперь он видит отца каждый день, но между ними стена, одолеть которую едва ли возможно. Филя не спрашивает, что там, за этой стеной, есть ли там обязательства перед другими или хотя бы согретые воспоминанием имена. Ему достаточно просто видеть, как Кнут заваривает утром кофе, садится в машину... Через пару недель он уедет, так и не услышав от отца ни слова о прошлом. И хотя этот большой дом и всё поместье отец намерен отдать ему, довольствуясь лишь спальней и библиотекой с камином, Филя вовсе не склонен оставаться здесь, он всего лишь гость.

Но Лаура, что она хочет узнать? Жизнь длится недолго, но долго потом ждать следующей жизни, сокрушаясь о так и не состоявшемся, упущенном. И разве это не чудо, что можно ещё что-то добавить и исправить? Сегодня, сейчас.

На королевском причале хозяйничают чайки, устраивая гнёзда в ящиках с кустами роз и олеандров, и белая спортивная яхта лениво покачивается у пирса в ожидание горделивой, с флагами на мачтах, королевской прогулки. Филя видит всё это из-за огораживающей причал сетки, и зоркий глаз видеокамеры неотступно следит за ним. Должно быть принцесса Лаура тоже обитает за сеткой, словно экзотический, редкий зверёк, родившийся в неволе, в чуждом ему суетливом окружении. Она живёт неподалёку, улизнув от размеренной скуки королевского дворца в уединённость окружённой садом виллы, и только вахтёрская будка возле чугунной ограды и напоминает прохожим, что сюда соваться не следует.

Тронув калитку, он так и остаётся стоять снаружи, на тихой, безлюдной, застроенной такими же дорогими виллами улице. Он здесь чужой, в этом городе, в этой стране, чужой в этом бестолковом, почти уже непригодном для жизни мире. Он кажется себе шпионом, высматривающим то, от чего отворачиваются другие, задающим себе крайне неудобные вопросы. То и дело посматривая за ограду, он видит наконец её, и она не одна. Так ведь и должно быть, она помолвлена. И это наверняка тот самый Шура, который очень богат и потому не нуждается в особых приметах. Высокий, пожалуй, слишком вытянутый, узкоплечий, словно выросший в тени. Он держит Лауру за руку, но она словно этого не замечает, словно сама по себе. Заметив возле калитки Филю, она тут же высвобождает руку, решительно шагнув вперед. Теперь-то у неё нет сомнений: этот русский за ней шпионит. И это ведь забавно, держать возле себя норовящего тебя сцапать медведя, это разогревает даже голубую королевскую кровь. Хотя быть русским сегодня крайне неприлично, это как чумная метка, как знак тотальной враждебности, клеймо несоответствия норме. Но в этом есть ведь и свой шарм, понятный лишь тому, кто не заморачивается льстивыми услугами политиков и может пнуть, если надо, любого из них.

— Это опять ты, не знаю, как тебя зовут, — с ходу начинает Лаура, пытливо уставившись на Филю, — Что ты тут стоишь? Шпионишь?

Тот, кто с ней, тоже подходит, сдержанно Филе кивает, глядя куда-то мимо. У принцессы полно знакомых, и будет ещё больше, как только она станет королевой. Вряд ли она помнит их всех, собираясь стать главнокомандующим уже готовой за неё умереть армии. Она ведь и сама, Лаура, метко стреляет в цель и вряд ли промахнётся, будь то фазан или премьер-министр. За это её и любит покладистый местный житель, пока ещё не спаренный с другой расой, и непрерывный завоз в страну негров и прочих чёрных отходов эволюции тревожит его куда меньше, чем угроза обрушение монархии.

— Так ты, значит, русский? — вяло интересуется приятель Лауры, — Беженец с Украины или так, перебежчик?

Он говорит это по-русски, но с местным акцентом, придающим его словам оттенок презрения. Да и как иначе можно относиться к русским? Вель скоро, совсем уже скоро, от их огромной страны останется один только гулаг, битком набитый вкалывающими за миску свекольной похлёбки рабами. Зря что ли Бандера надрывался в гитлеровском концлагере, скрывая от пронырливых эсэсовцев свой гомосексуальный гонор?.. зря что ли пробрался в учебник новейшей истории?

— Я тут всего лишь гость, — спокойно отвечает Филя, — мне скоро обратно на фронт, хотя украинский дрон однажды уже всадил мне пулю в сердце...

— Так ты воевал против нас, — снова по-русски произносит приятель Лауры, — воевал против Америки! Против будущего планеты!

Он одного с Филей роста, но слишком уж тонок и узкоплеч, хотя лицом, пожалуй, красив, но как-то по-женски, навязчиво. Его узкие, почти детские

кисти рук едва ли годятся держать пилу или топор, разве что мучить компьютер.

— В самом деле, — непринуждённо отвечает Филя, — Америка — это будущее планеты, причём, катастрофическое будущее, завершающее земную историю. Эта катастрофа, будучи катастрофой моральной, перехлестнёт все ранее известные разрушения, включая великий потоп, человек расчеловечится в угоду всесильным демонам техники, в угоду таящемуся в глубинах земли антихристу. Готовясь уже сейчас к выполнению своей будущей катастрофической миссии, Америка заранее сметает стоящие на её пути преграды, пытаясь одолеть главную из них: устремлённость русской души к духу, причём, к германскому духу, уже несущему в себе золотое руно Самодуха...

— Следовало бы уничтожать русских как бешеных собак, — угрюмо замечает приятель Лауры, — но поскольку ты здесь, не теряй зря время на бесполезную болтовню, вступай в армию победителей!

— Пусть сначала расскажет, как ему удалось обогнать королевскую яхту, — деловито напоминает Лаура, — и заодно скажет, как его зовут.

Ввхтёр стоит возле будки по стойке смирно, пока спортивная, с открытым верхом, машина не срывается с места, и Филя успевает заметить брошенный ему напоследок взгляд...

11

Светлая июньская ночь овевает его ожиданием того особого покоя, что только и позволяет уйти от назойливой круговерти причины и следствия, начала и конца. Где конец этой замусоренной ненавистью, страданием и страхом планеты? Где её начало? Буровые скважины вгрызаются в мёртвую корку земли, под которой бурлит и кипит жидкость и пар, но дальше, в глубине, в самой середине, в сокровенном центре, что там? Недосягаемое для мёртвых формул рассудка, таинственное ядро земли. Не в нём ли начало и конец времени? В этой расширяющейся в бесконечность точке. В точке приложения творящего Слова.

Ночь в пустом доме. Здесь давно уже нет обнадёживающей одиночество суеты, нет даже мимолётной тоски о каком-то ином, кроме покоя, счастьи. Одно лишь бесстрастное вопрошание к самому себе, оно пока ещё здесь: чего же ты хочешь? Вписаться в общее с другими дело, закрыться от самого себя мнением о себе других? Отвернуться от судьбы, домогающейся от тебя особых, на вид даже бесцельных усилий! Судьба — вовсе не заключённый тобой с жизнью пакт, но принесённый тобой из прошлых твоих жизней груз, который надо тащить дальше. «Теперь-то я знаю, — разъясняет самому себе Филя, — что никто кроме меня это не потянет, никто не решится взнуздать свою мысль волей настолько, чтобы сорвать, одну за другой, печати с

закрытой для повседневного рассудка книги». Это и есть одиночество, гасящее обращённые к предметам чувства, оставляющее лишь то, что вырастил в себе ты сам, твоё суверенное, не смешанное с миром «Я». Оно-то, единственно, и желает в тебе быть свободным, навсегда отстраняясь от публичной о свободе болтовни.

На письменном столе, под стеклом, белеет высохший цветок ветреницы, солнечный знак какой-то далёкой весны, и мысль о матери наполняет Филю сладкой тоской и нежностью: она жила когда-то здесь. Теперь он тут вместо неё, сидит на её стуле, её кот прыгает к нему на колени, и этот сухой цветок наполняет его мысли свежестью оттаявшей земли, свежестью прорастания. Почему его мать не осталась здесь?

В ящике письменного стола, среди старых квитанций валяется почтовая открытка, отправленная Инной из России вскоре после его рождения. Все эти двадцать с лишним лет открытка лежала здесь, должно быть отец перечитывал, снова и снова, когда-то обращённые к нему слова: добра в мире чуть больше, чем зла. И Филя готов теперь уточнить: совсем ненамного, чуть-чуть, на одну только каплю. Добро и зло почти равносильны, но между ними есть это «чуть-чуть», состоящее лишь в скромности, смирении и терпении. Возмущая жадный до великих побед рассудок, скромность, смирение и терпение не сулят никому счастья, обращённые к одиноко стоящей в мире душе, где только и могут согреться. Скромность уступает кому-то трон, смирение склоняется перед невзгодами, терпение взваливает на себя неподъёмный крест испытаний. Зло на такое не способно, оно наступает даже при своём отступлении. И только на гребне своей разрушительной волны, почти уже побеждая, зло оказывается... добром!.. не к месту применённым добром. И в каждой отдельной жизни, какой бы убогой она ни была, зло изживает себя до конца, до полного самоистребления, выжимая из себя слезинку добра. Не становится ли начало концом?.. не станет ли конец началом?

Высохший, под стеклом, цветок ветреницы. Его можно хранить в мыслях и даже пронести через смерть, чтобы потом уже выткать из света, навсегда оставляя его среди звёзд. Земля ведь тоже возникла «из ничего», как излияние воли Творца, и в каждой душе это есть: отголосок творящего Слова, которое не рождается и не умирает. Глаз видит сегодня лишь мёртвое, оно на поверхности, его выталкивает наружу жизнь, оставаясь незримой, живая, деятельная материя, изначально породившая все существа и формы. Материя Грааля. Она всё ещё есть в глубоких недрах земли, и она желает быть востребованной. И кто-то ведь её добудет... кто? Та чаша, в которую была собрана на Голгофе живая кровь Спасителя, сама была живой, ведь только живое и может удержать живое. Впитав в себя не тронутую никаким вожделением, чистую кровь Спасителя, земля получила причастие, делающее её способной превозмочь свою минеральность, скованность мёртвой коркой, медленно, но неуклонно превращаясь в солнце. Причастие получило и твердеющее, усыхающее, отравленное эгоизмом и алчной животностью тело человека: из нисходящего вниз, в материю, оно медленно, но неуклонно

становится восходящим, становится телом воскресения. Такова подлинная история земли, история её метаморфоз. И только одна лишь воля, воспламеняя заждавшуюся мысль, и может проникнуть, слой за слоем, в далёкое земное прошлое. У этого странствия нет никаких известных маршрутов, оно шокирует, потрясает. И первый, кто совершил этот спуск в недря земли, был Христос.

В живом теле земли таится вся её история, её прошлое, настоящее, будущее, таится семя будущего солнца. Как бабочка, долго томящаяся в куколке, это новое солнце земли прорвёт оболочку времени, устремляясь к началу нового творения из ничего, вбирая в свою солнечность душевное тепло людей. К этому будущему солнцу давно уже присматривается антихрист, строя великие планы великой над солнцем победы. Что для него вся эта внешняя земная история, с её видимыми катастрофами и взлётами, когда в услужении у антихриста Сатана, способный раскачать орбиты планет. Что для него время, если сам он — вне времени. Этот солнечный демон не в силах был предотвратить приход на землю Христа, но в силах извратить ход земной истории, воровски проникнув следом за Христом в земные недра, и не просто так, но с целью... воскреснуть, стать для людей единственным Богом. Силы антихриста и силы Христа почти равны, но нет у солнечного демона одного: слабости. Слабость, подставляющая для удара вторую щеку, и есть та сила, что одержала над антихристом верх.Троекратное землетрясение в день Голгофы переиначило ход времени, внеся в историю совершенно новый импульс: на место человека нисходящего стал человек восходящий. Антихрист же остался пленником земных недр, и теперь уже оттуда правит злом, воскресая в каждой извращённой ложью и эгоизмом душе. Так он идёт к своей великой победе, надёжно закрепляясь в будущем. И это от его имени, от имени зверя, от имени демона солнца, проносятся по земле ураганы войн, оставляющих после себя лишь горделивую похоть мести. Но кто-то, втянутый в самое око урагана, в безветрие и затишье его разрушительной круговерти, начинает вслушиваться в доверительный шёпот тишины: эта война — в тебе самом. Война не укрощённых тобой вожделений с твоей вечной, нерождённой сутью. Война тебя прошлого с тобой будущим. И если уже сейчас ты готов идти до конца, рискуя потерять всё, целься прямо в антихриста, как тот целится в тебя. Затаившись в глубинах земли, солнечный демон намерен не дать земле сделаться солнцем, оставить от земли лишь её минеральный труп.

Эта ночь вмещает в себя так много, словно давно уже отзвучавшие жизни вливают в неё золотую влагу своих звёздных странствий, и смерть, усаживаясь поблизости, устало напоминает: а ведь ты всё ещё жив... Филя не раз смотрел в глаза умирающим, стараясь передать им в их последние мгновенья всю, какая в нём есть, любовь. Он ведь и сам убивал, заранее зная, что всё потом начнётся сначала, и снова придётся идти на врага, пока ты не убьёшь врага в самом себе: свои нечистые, животные страсти. Они не безразличны земле: она жадно глотает их своей огненной сердцевиной, выгоняя наружу пламя вулканов. Природа всего лишь безнравственный инструмент одолевающих её стихийных душевных сил, в ней нет ни морали,

ни совести, и если где-то война, в другом месте землетрясение, и ненависть только подогревает котлы вулканов. Твоя ненависть. Ненависть к ненавидящему тебя. И так будет еще очень долго, пока ты в своём интересе к другому не откажешься от симпатий и антипатий, пока не научишься смотреть в его, другого, суть. К этому надо ещё привыкнуть: бодрствовать даже во сне, иначе твоя война с антихристом заранее проиграна, так что ты сам вместе с этой планетой окажешься в клоаке тёмного механического рассудка. «Но я должен вернуться на фронт, — подслушивает свои мысли Филя, — должен продолжать убивать других... да, убить ещё многих, многих... такова плата за возможность жить на земле. И в каждой моей победе видна уже будущая моральная катастрофа...»

Чем ближе к земному ядру, тем неукротимее пленённые землёй стихийные силы, доставшиеся ей из далёкого прошлого. Словно живое зеркало, земля отражала строящий её космос, и это зеркало остаётся теперь в её недрах, отражая намерения и устремления людей. Именно здесь, в зеркальной жесткости законов природы, и затаился зверь-антихрист, хищно присасываясь к каждой, даже невинной с виду глупости. Ничто так не бодрит антихриста, как глупые решения и поступки, ничто так не обнадёживает, как власть глупца. Кому как не демону знать, насколько глупость приятнее для большинства, чем высокий, просветлённый ум, и это даёт антихристу уверенность в успехе его тёмного дела: в зеркале земли отразится лишь его демонический облик.

Всматриваясь в серебристо-серый предрассветный сумрак, Филя ждёт, что скажет ему это раннее утро, едва продирающееся сквозь сетку дождя. Разве нет в мире силы, способной тягаться с антихристом? Даже ангел на это не годен, даже Спаситель всего лишь на волосинку сильнее... Тогда кто же? Никто кроме тебя самого. Ты понесешь этот крест до скончания земных времен, пока в тебе самом не вспыхнет твоё внутреннее солнце. И чем ярче оно становится, тем прозрачнее делаются законы природы, сквозь которые просвечивает уже твоя нерождённость.

В глубинах земли таится, заколдованное временем, её будущее, к нему не подступиться, его не понять охочим до формул рассудком, оно лишь в предчувствии, в смутной догадке. Земля скрывает в своих недрах чудовищный копировальный инструмент: все вещи и существа, устремления и мысли, всё может умножаться до бесконечности. И антихристу остаётся лишь снять с самого себя неисчислимые копии: зла в мире станет намного больше. И кто же не рад сегодня искусственной, демонической интеллигентности машин?

Пробравшись в самую сердцевину земли, антихрист пронизывает своей извращённой сутью земные силы продолжения рода: каждый волен сам определять свой пол, менять свои органы на чужие, вживлять в своё тело электронный мусор, делать детей в пробирках. И ты, с пересаженным сердцем свиньи и лазерным глазом, никак не возьмёшь в толк, что такое, собственно, жизнь.

Но кто-то ведь сможет претерпеть всё, не перехватывая у антихриста власти над материальным миром, оставляя ему награбленное: расщатанные демоническим рассудком законы природы, в которые сам он угодит как в западню. И тогда уже, отделавшись от антихриста, можно будет полностью заняться собой, достигнув желанной точки бесконечного расширения, точки своего воскресения, вспыхивая новым солнцем.

12

Утром он видит отца, ковыляющего к машине, с палкой в руке. Он вовсе не стар, но жизнь уже выгорела в нём и стерлась, сделавшись обязанностью и долгом: его интересует лишь фабрика. Это не только деньги, безотказно вливающиеся в надёжные акции, это оправдание его нежелания вникать в детали своей тоски и недовольства. Он прочно стоит на земле, жестко вписав себя в производство крайне полезных, жизненно необходимых вещей: всякого размера, фасона и качества дронов. Будучи поначалу детской игрушкой, дрон уподобился хитрому богу войны: война без дрона что генерал без погон, тогда как с дроном — захватывающий сериал с нескончаемым продолжением. И тот, кто эти дроны клепает, надрываясь в три смены, тот делает это лишь ради никак иначе не достижимого счастья, пусть даже чужого.

Подойдя к машине, Кнут оборачивается: уже десять утра и все, кому надо, давно встали, дома лишь слепой кот. Уборщица вымыла посуду, сменила кошачий песок, полила в саду розы, теперь только сын, этот мимолётный гость, возится в гараже... Но вот он, намерен что-то сказать.

— Я мог бы, пожалуй, тебя вылечить, — на ходу произносит Филя, заглядывая в кабину, — давай сегодня и начнём.

— И как же? — Кнут включает мотор, — Ни один врач в мире не знает, что такое ревматизм, и всё, что они говорят, к делу не относится.

— Я буду лечить тебя беседой, по часу каждый вечер.

Кнут хрипло смеется, хоть шутка и неуместная. Он давно уже смирился с болезнью, он к ней привык, у него нет времени думать о переменах.

— Наше зримое физическое тело, — непринуждённо продолжает Филя, — пронизано нашей высшей, незримой, частью, управляющей ходом всех телесных процессов, и если где-то недобор, куда нашей душе нет доступа, там налицо застой низших телесных качеств, заторможенность, затвердение, что и вызывает боль и неудобства. Эти участки тела, в достаточной мере не проработанные душой, надо теперь «достать», проникнуть в места «сбоя», овеять их душевным теплом, прокалить пламенем духа.

— Ладно, — перебивает его Кнут, — морочишь мне голову, но мне все равно вечером нечего делать, посмотрим вместе спортивную программу...

Разогрев принесённый из ресторана ужин, Филя сидит на кухне один, и кот, хоть и слепой, с разбегу прыгает ему на колени. Оба слышат, как по коридору тащится, постукивая палкой, Кнут, кот настороженно поводит ушами.

— Ну, что же ты хотел мне сказать? — грузно опускаясь на вертящийся круглый стул, безразлично произносит Кнут, — Давай в темпе, мне пора уже спать.

— Моя мать ничего не говорит о тебе, и ты ничего не говоришь о ней.

Собираясь уже встать, Кнут опирается на палку, но что-то удерживает его, о чем он раньше старался не думать, что-то вроде чувства вины. В самом деле, он никому о ней ничего не рассказывает, никто ничего о ней не знает.

13

Он увидел её в аэропорту, в очереди паспортного контроля, увидел её затылок, с падающей на меховой воротник пшеничной косой, и словно уловив его взгляд, она обернулась и кивнула, неуверенно, смущённо. Он мог бы этого и не заметить, но странная, беспричинная доверительность заставила его кивнуть в ответ. Даже теперь, когда всё давно кончено, он живо ощущает пронзительную свежесть этого мгновенного узнавания, мгновенной уверенности в том, что вот она, здесь, твоя судьба.

Аспирантка по обмену, Инна получает работу в университете, у неё есть будущее в этой чужой стране. И встреча с Кнутом только подтверждает близость этого будущего: вот он, мужчина её жизни. Уже через месяц она переселяется из тесной студенческой студии в его просторный деревенский дом, и это знак того, что у них всё серьезно. Рождество, новый год, подарки... и даже подарок от матери Кнута, уже считающей Инну своей, и это ведь так много значит. И что может быть лучше, чем мчаться с Кнутом в машине через Ла Манш, навстречу ранней парижской весне? А там ещё магазины, счастливое, ни к чему не обязывающее безделье... мчаться дальше, теперь уже на юг, в цветущий Прованс... Раньше Инна не думала, что жить можно просто так, ради одного только дня, ради нескольких мгновений, не задавая никаких вопросов завтрашнему дню. Лиловое лавандовое поле, провансальское солнце... так сладок этот сон жизни! И только на обратном пути, врезаясь лобовым стеклом в утреннюю серость дождя, Кнут признаётся, не глядя на Инну, что лавно уже женат. Он говорит это нехотя, как бы между прочим, ведь он не живёт с той, другой, уже более десяти лет, и может, пора уже с этим разобраться... да, пора. Только ведь у них общий счёт в банке, в Киеве.

Оказавшись в Киеве в момент радостного буйства оранжевой украинской мечты, Кнут, тогда ещё любопытный двадцатипятилетний турист, познакомился с олигархом. Это и в самом деле забавно: наблюдать гуляющую

на свободе, перекормленную чужими бедами, кровожадную тварь. По-другому никак такой крупной рыбой не станешь, такие деньги невозможно иметь просто так, даже оставаясь жуликом, от них на расстоянии разит большой кровью. Деньги для будущей, скорой уже войны с соседом. И хотя у соседа есть свои олигархи, и тоже такие же твари, война нужна хотя бы уже потому, что всем, как назло, охота в Америку, тогда как она давно уже тут... да, везде. С тех самых пор, как Гитлер проиграл последний бой за нищенствующую духом, арийскую Европу, порядок в мире рухнул к ногам прожорливого американского упыря. И самоназванной, выдавленной из русского тела Украине досталась бессловесная роль проходимца, приворовывающего у смятых в лепёшку немцев одним только им понятную символику свастики и Грааля. Конечно, немец пошёл уже не тот, приручённый и оглуплённый джазом и кока-колой, и именно поэтому — ввиду последней рухнувшей преграды — Америка теперь везде. Кнут и раньше замечал, что нормы приличий неуклонно сползают на дно, с шевелящимися там гадами, но его это мало тревожит, поскольку сам он, в свои двадцать пять, вполне на плаву и вовсе не намерен нищенствовать ради каких-то там мутных европейских таинств свастики и Грааля. И вот он здесь, на выпрыгнувшей из русской истории Украине, предлагающей себя всякому, кто устроит ей пышные американские похороны. Какая, впрочем, разница, есть эта Украина или её нет, главное сейчас — не упустить подмигивающую тебе удачу. Кнут восхищён, подавлен, попросту смят захватывающим видом на будущее, в котором сам он — один из победителей. И нет никаких сомнений в том, что надо немедленно встраиваться в эту, такую уже близкую войну. И неважно, кого будут убивать, на Украине народу много, и люди в основном бестолковые и легковерные, да, тупые. Олигарх прямо так и сказал Кнуту: надо делать дроны, с ними война пойдёт легче и веселее, и скоро уже на той, вражеской стороне не останется и тени сомнения в превосходстве взрывной украинской мечты над вяло текущей и тоже украинской действительностью. Кнуту было всё равно, какие там бывают мечты у каких-то там украинцев, тем более, что сам олигарх украинцем никогда не был и строил в Киеве ещё одну синагогу, тем самым давая украинцам понять, что не они тут титульные. Олигарх — это даже не заоблачный счет в банке, это — принадлежность к «своим», для которых все остальные всего лишь корм. И самый полезный для олигарха корм — это наивно верящий в его, олигарха, порядочность, незрелый пока ещё талант. Что Кнут талантлив, разглядеть не трудно: ничем не прошибаемое упорство воли, мгновенная сообразительность. К тому же молодость, не желающая верить в поражение и провал. И уже примеряясь к сговорчивости Кнута, олигарх даёт ему немного денег... так, чуть-чуть. Эти сальные, шоколадные украинские деньги! Ими удобрено оранжевое марево похотливой украинской услужливости, ими давится пресытившееся кровью и экскрементами украинское будущее. На эти деньги Кнут может арендовать пустующий склад, нанять пару-другую толковых ребят, и перелетные стаи дронов потянутся через границу в теплые украинские края... а потом Кнут построит фабрику, потеснив владельцев картофельных и свекольных полей, и пусть эта украинская война никогда не кончается. Вот она, его счастливая

судьба! Но счастье присматривается к Кнуту куда более пристально, чем сам он того желает, и вскоре до него доходит, что обрюзгшему, раскормленному украинскими деликатесами олигарху вовсе не обязательно иметь такую роскошную, такую загадочную, такую элегантную... в общем, такую. Должно быть эта черноглазая, ярко рыжая Эльвира, у которой папа аж киевский раввин, стоила своему владельцу больших денег, не пойдёшь же за такое обрюзгшее жабьё по любви. А тут вдруг припекает: уж не любовь ли?.. не счастье ли? Да, с этим рослым, светловолосым Кнутом. Идёшь с ним по Крещатику, и все только на него и смотрят: видный. Он не той, что сама она, породы, он — настоящий, да, не заводная кукла, земля не уйдёт у него из-под ног. Как раз таких, как этот северный Кнут, «свои», среди которых Эльвира тоже «своя», намерены постепенно истребить, свести эту стойкую в испытаниях породу к расслабленному и сытому, развращенному толерантностью виду скота. А скот, как известно, рано или поздно попадает на скотобойню. Так что Кнут один из последних, редких.

Жена олигарха — это не просто переходящий приз, это фирменный знак, приносящий удачу.

Перехватить её у другого, отбить, увезти — верный знак успеха. С этого и надо начать, не откладывая до будущего набега на Киев.

Эльвира на пару лет старше Кнута и начала свою карьеру в тринадцать, украсив свой послужной список известными в Киеве именами. Она же не просто так, она даст любому мастер-класс. И что за чудо: неловкие, порой наглые ухаживания Кнута льстят ей куда больше скучных приставаний знакомых олигарха. Это так ново, так свежо, оказаться для кого-то невинной, застенчивой, юной... недоступной. И когда Кнут уговорил её развестись, олигарха это ничуть не обидело, он вовсе не намерен был маяться всю жизнь с такой, элегантной и роскошной, но... умной. Умная ...в Киеве? Ею может быть только «своя», никакой украинке не взять в толк, как надо обращаться с деньгами, когда их так много. У Эльвиры в Киеве несколько квартир, но жить она хочет где-нибудь там... да хотя бы в замусоренном неграми и арабами Осло. Забирай её отсюда поскорее, Кнут.

Первая партия дронов уже на подлёте, и скоро уже на той, вражеской стороне узнают, каково воевать с непобедимым хохлом: съезжают набок крыши, рушатся верхние этажи, горят бензоколонки. Дрон метит в застрявшую на переходе легковушку, врезается в футбольное поле, разносит песочницу вместе с забытыми в ней игрушками... Те, что покупают дроны — а это сплошь герои будущей войны — платят наличными, и Эльвира переправляет бабло в киевский банк, избавляя Кнута от высоких налогов. Теперь у них общий счёт, и каждый в курсе, сколько тратит на себя другой, и это ли не залог нерушимой друг другу верности. Так и пролетит эта бестолковая жизнь, единственным смыслом которой оказывается война.

Но ближе к Рождеству Кнута начинают терзать сомнения: останется ли с ним Эльвира на этот раз? Новый год они так ни разу и не встречали вместе: Эльвира летит в Киев, там у неё... всё, то есть как раз то, чего ей возле Кнута

не хватает: там «свои». Какие они, «свои», не так важно, главное — вдохнуть сладкий запах элитной гнили, окунуться в застой привычной друг о друге лжи, цена которой — неиссякаемая взаимная ненависть. Эльвиру это всегда бодрит: чужая ненасытная зависть. Едва задев кого-то язвительным комплиментом, Эльвира спешит уже дальше, к новой зазевавшейся жертве, не уставая наслаждаться своим, отточенным презрением к миру умом. Ей давно уже ясно, что люди глупы и ничтожны, как «свои», так и весь подножный корм, и нет никакого другого в жизни смысла, кроме как выжать из каждого сок, а его самого растоптать. Но то, что подспудно питает кровожадный азарт Эльвиры, совсем иного, чем эта её ненасытность, рода: совершенно ей непонятная, презираемая ею, немногословная преданность Кнута. Он ждёт её там, в Осло, один, не помышляя в своём простодушии об измене, он мучается, тоскует... Вот он, опьяняющий стимул жизни: разбитое сердце другого.

В Киеве она теперь вроде иностранки, ей уступают дорогу, её провожают голодные, завистливые взгляды, её боятся. И нетерпеливое ожидание войны поднимает в цене хваткую предприимчивость Эльвиры: она покупает во Львове особняк с мраморным фонтаном, присматривает бесценное место на роскошном львовском кладбище... она смотрит вперед, в будущее.

Вот и на этот раз Кнут остаётся на Рождество один, так было в прошлом году, и в позапрошлом... Один в этот загадочный, таинственный, желанный с детства праздник. Один в просторной, нетопленной квартире в центре Осло, с забытой в морозилке индейкой и начатой бутылкой бордо. Эльвира не зовёт его с собой в Киев, да и зачем, и он нисколько не сомневается в том, что там у неё... всё. Она бросает его в это тёмное время года, нисколько не сострадая его одиночеству, бросает, словно ненужную вещь. Он смотрит на приготовленные для неё подарки, вывалив на диван целый пакет, и ему вдруг становится тошно: с кем он, собственно, живёт? Он купил ей эту квартиру, экономя на сосисках и кофе, он не вникает в её расходы. Она же, он теперь в этом уверен, попросту презирает его, не считая равным себе, и ей плевать, какое тут у него одиночество, что ей его тоска, его мучительное томление... Заметив на небритой щеке слезу, Кнут не пытается её смахнуть, так и идёт в спальню, вытаскивает из шкафа чемодан, бросает в него что попало. В конторе на фабрике есть диван, есть чайник и душ. Взяв бутылку бордо, он уходит.

14

Рассказывая всё это сыну, Кнут забывает, что уже поздно и надо принять на ночь таблетки, он ведь ещё не всё сказал. И если раньше он не решался думать о своём приключении с Инной, то сейчас готов сбросить с себя этот груз, словно намереваясь передать его другому.

Узнав, что он женат, Инна продолжает жить в его деревенском доме, ведь ей

ещё не ясно, что у него с той, другой. Может, это только привычка считать себя «устроенным», изредка ходить в гости с женой, давая всем понять, что всё у них в порядке. Кнут получает солидные заказы, и ему небезразлично, что о нём думают. Блудить с кем попало, это нормально, ссориться с женой аморально. Путаясь в неразберихе мыслей, Инна моет в доме окна, пылесосит ковры, сажает в саду лаванду и розы... и её мысли никак не складываются в спокойный и ясный узор, то и дело их заглушает слепая, ядовитая ненависть: та, другая, неизвестная, должна уйти из жизни Кнута. И тогда наступит время ясности и покоя. Этот просторный дом наполнится тихим, осмысленным трудом: дети, собаки, кошки, куры, сад. Кто верит в такое счастье, тот уже счастлив, ведь более захватывающей иллюзии, чем счастье, в мире не существует. Эта иллюзия рано или поздно подбирается к каждому, и как от неё потом отвязаться...

Кнута не было дома три дня. Он не сказал, где он был, и вернувшись после полуночи, сел, не снимая мокрой от дождя куртки, на край постели, заставив Инну насторожиться.

— Я сдал для неё сперму, в Киеве, — безнадёжно увядшим голосом произнёс он, глядя куда-то в сторону. Встал, разделся, пошёл в душ.

Его браку почти уже пятнадцать лет, из них последние десять сводятся к отмыванию грязных денег. Из них, грязных, выросла его фабрика, на них он купил дом, и для него совершенно немыслимо отказаться от этой хорошо отлаженной механики. Но цена удовольствия внезапно подскочила: Эльвира хочет иметь ребёнка. Раньше ей было не до этого, ведь ребёнок, как известно, обуза и помеха. И только теперь, отвоевав среди «своих» достойное её воображению место, Эльвира на это решилась... или это нашептала ей с годами становящаяся явной пустота.

Появившись на фабрике среди рабочего дня, она бесцеремонно уводит Кнута в контору. И он, думая, что ей нужны деньги, тут же лезет в сейф... но нет, она пришла не за этим.

— Ты же знаешь, я с тобой не лягу, — холодно произносит он, глядя в её черные, когда-то сбившие его с толку глаза, — Не лягу.

— Мне это известно, — не отводя взгляд, так же холодно произносит она, — Мне нужна только сперма... мне скоро сорок, и у меня ведь никого, кроме тебя, нет...

Кнут, не стесняясь, усмехается. Ребёнок стоит денег, Эльвире нужна гарантия полного содержания, до самого совершеннолетия и дальше... ребёнку нужно наследство.

— Хочешь сказать, что это мой в браке долг, наплодить детей, — ещё не погасив усмешку, продолжает он, — и это в самом деле так, ведь мы всё ещё состоим в браке...

— Наш брак прочно скреплён общим счётом в банке, — торопливо напоминает она, — ты же не станешь разрушать своё благосостояние, и моё

тоже...

— Не стану, — не глядя на неё, устало произносит он.

Они летят в Киев, где в детской клинике, открыто торгующей новорожденными и биоматериалом абортов, уже заказаны процедуры искусственного захвата стремящейся к воплощению души. И первое, что отвращает и коробит Кнута, это слово «репродуктолог».

Здесь Кнут прерывает свой рассказ, вопросительно глянув на сына. И Филя, всё это время молчавший, спокойно поясняет:

— Репродукция бывает только у животных, тогда как у человека приход в мир является инкарнацией. Животное повторяет само себя в своём потомстве, воспроизводит себя в виде своей точной копии, поскольку сами родители и их потомство, и весь этот животный вид принадлежат одной и той же групповой душе, она у них одна на всех. Сама эта групповая душа может быть чрезвычайно мудрой, и эта мудрость обращена к каждому члену рода. Человек же воплощается так, что только его физическое тело отчасти «копируется» с тела родителей, вступая в поток наследственности, тогда как его незримые тела, его душа и дух, совершенно самостоятельны и определены характером прошлых прожитых жизней. Родители не репродуцируют ребенка как свою точную корию, но только предоставляют физическую оболочку духовному зародышу, давая только возможность воплощения, не случайно ведь дети одних и тех же родителей бывают весьма несхожими друг с другом...

— Так оно и есть, — невнятно бормочет Кнут, глянув исподлобья на сына, — каждому своё, бывает ведь, что и брат брату не товарищ.

Он должен рассказать всё, не оставляя лазеек для лжи, ведь завтра, кто знает, он может на такое и не решиться.

Согласие Кнута подчиниться необходимостям брака Инна поначалу не принимает всерьёз, но постепенно до неё доходит, что в доме поселяется кто-то третий, выметая прочь едва лишь проклюнувшиеся, нежные всходы её мечты. Ей становится невыносима собственная ненависть к другой, властно распоряжающейся судьбой Кнута. Невыносимо сознание того, что она желает этой, неизвестной ей женщине, смерти. Желает смерти её будущему ребёнку. Но как заставить себя не желать этого? Таких сил у Инны, увы, нет. Остаётся только одно: исчезнуть.

Сварив утром кофе и поджарив хлеб, Инна безразлично, мимоходом, сообщает собравшемуся на фабрику Кнуту:

— Я уезжаю, сегодня.

Недоумённо на неё глянув, Кнут расстегивает куртку, садится в кресло возле вешалки.

— Я этого не переживу, — растерянно бормочет он, — у меня будет инфаркт... да всё что угодно! Оставим всё как есть, к чему этот патетический

тон...

Сев в кресло напротив, Инна смотрит на него в упор, ей вовсе не хочется отсюда уходить, она не в силах вырвать с корнем свою мечту, она полюбила уже этот дом. Пройдут месяцы, годы, надо уметь ждать. Так и не собрав чемодан, она смотрит свою почту, а там... она читает это снова: ей не продлевают контракт в университете. Теперь она не сможет снять даже студенческую студию, она вынуждена оставаться здесь, полагаясь на милость Кнута.

Кнуту все равно, какую работу она ищет, да и найдёт ли вообще, его беспокоит другое: уже несколько месяцев из Киева приходят лишь дурные вести: в заветной пробирке ничего не происходит. Реподуктологу все равно, ему платят ведь и за пустую пробирку, но теперь он готов сказать: бросьте вы эту затею, зачем зря себя мучить, тем более, за свои же деньги. Но распаренная гормонами, Эльвира готова вонзить в своё стареющее тело любые шпоры, лишь бы в пробирке наконец клюнуло, лишь бы потом приросло. И не всё ли равно, каково это, оказаться в морозилке при минус двести, едва только спустившись с неба...

15

Стоит ли об этом рассказывать сыну? Филя знает и так: пробирочный ребёнок приходит в мир благодаря чудовищному насилию. Унижена не только природа, в её слепой подчинённости данным свыше законам, под прицелом само это высшее, в его вечной, неразрывной троичности: отец-мать-сын. Репродуктолог цепляет иглой одну клетку, втыкает её в другую клетку, опускает полученный продукт в жидкий азот и уже потом передаёт заказчику. В этой примитивной механике нет места тому, что, собственно, приходит в мир: нет места человеческой свободе.

Лишённый естественной возможности встроиться в деликатный процесс оплодотворения, более похожий на неспешный любовный танец, чем на грубое, молниеносное проникновение одного в другое, духовный зародыш остаётся «за дверью», в ужасном одиночестве, призывающем его вернуться обратно в духовный мир. Он ведь так долго ждал, странствуя среди звёзд, примеряясь к подходящей для него наследственности, выискивая подходящую пару родителей, но оказался попросту недопущенным к свободному, добровольному вхождению в мир. Его вталкивают в жизнь насильно, пропуская сквозь демоническую механику животной репродукции. И первое, что впитывает в себя зародыш, он понесёт по жизни дальше: в мире, куда он попал, нет свободы, нет любви.

— Репродукция человека — одно из остроумнейших изобретений антихриста, — спокойно поясняет Филя, — намеревающегося подменить духовно-душевно-телесное триединство человека телесно-душевной животностью, и

это расчеловечивание исключает устремлённость «пробирочного продукта» к своей неумирающей сути, к своей нерождённости, к своему высшему, космическому «Я».

— Хочешь сказать, что в пробирке получается отброс? — напряжённо уставясь на сына, дрогнувшим голосом произносит Кнут.

— На вид этот «продукт» может быть ничем не хуже обычного новорождённого, и это позволяет репродуктологу приравнять божественное к антихристову, тем самым, учитывая растущий спрос на пробирочных детей, назначить антихриста Богом. Как раз среди этих, «пробирочных», антихрист и намерен одержать свою великую над миром победу, победу человеко-животного над человеком. Внедрившись в копировальный слой земли, антихрист намерен произвести столько собственных копий, сколько хватит в мире пробирок. И заметь, там, где пробирочная репродукция, там и аборт, и торговля живым биоматериалом, и всё это вместе готовит для людей серое, искусственно интеллектуальное будущее. Будущее без Христа.

Пройдясь по кухне, Кнут вспоминает, что так и не принял таблетки, и теперь это уже ни к чему, спина, как ни странно, не ломит, колени не ноют, с чего бы это. Разговор с сыном так неожиданно освежает его заплесневелые, затянутые паутиной равнодушия мысли, согревая застоявшуюся, в отравляющей её горечи, кровь. И пусть Теофил это узнает: ещё до рождения он был проклят своим отцом.

Прошёл ещё год, в пробирке наконец клюнуло, и долгожданный продукт был пересажен в пылающее гормонами, изнурённое ожиданием нутро Эльвиры, и тут же оказался отторгнут воспротивившейся насилию природой. Кнут снова едет в Киев, ему ведь не жалко спермы, и начинается всё сначала: игла, пробирка, жидкий азот. Кнут ведь и сам этого хочет: не оставаться должником в браке. И мучения Эльвиры только укрепляют его решимость: дать ей то, что ей нужно.

И вот посреди зимы в его деревенский дом вламывается беспощадная, сродни стихийному бедствию, весть: она беременна!.. та, которая здесь, в его спальне, у него на кухне... Инна.

Несколько дней Кнут молча проходит мимо, стараясь на неё не смотреть, не отвечая на её вопросы. Его лихорадит, он явно болен и почти ничего не ест. Лёжа с Инной в одной постели, он старается не шевелиться, избегая как-то коснуться её, и порой ей кажется, что он умер. Эти дни кажутся ему чернее всякой ночи, дни отчаяния и той особой скорби, что изливается из бессилия и безнадёжности. Нищая, не устроенная в жизни иностранка, не просто иностранка, но русская, с той, вражеской стороны, она влезла в его жизнь, вызывая к себе лишь сочувствие и жалость, упорно добиваясь своего: заполучить от него ребёнка. И то, что он с ней не один уже год «играет в домик», позволяя её готовить обед и пылесосить ковры, ничего для него не значит, он может нанять домработницу. Да, но этот ребёнок... как она посмела! В то время как его жена, заслуживающая долгожданной беременности, мучается где-то в Киеве...

— Ты должна уехать, — не глядя на Инну, решительно распоряжается он, — уехать из этой страны, уехать к себе в Россию. Мне не нужен этот ребёнок, о нём не узнает никто, даже моя мать, но я готов платить...

Уже собравшись, Инна сидит на скамейке в саду, и ей кажется, что здесь прошла вся её жизнь. Нет ничего труднее, чем убить, одну за другой, сладкие иллюзии счастья, убить хладнокровно, сознательно. Убить само это любовное томление, выжигая его безжалостно сокрушающей волей. Убить воспоминания о случайно оброненной Кнутом, мимолётной страсти. И словно разделяя с ней горечь этих мыслей, на верхушке столетней ели неспешно, словно что-то рассказывая и утешая, поёт чёрный дрозд. Возле дома уже ждёт машина, уже заведён мотор.

Вернувшись в пустой теперь уже дом, Кнут поднимается в спальню, садится на постель, кладёт голову на подушку, и оставленный Инной кот устраивается на подушке рядом, и первый раз за всё время Кнут гладит его. Так тихо теперь, так спокойно, пусто, мертво. Но никто ведь никогда ни о чем не узнает, а из России не доходят даже почтовые открытки.

Едва убедив себя в том, что теперь ничто не угрожает его безупречной репутации производителя дронов, Кнут берёт телефон, а там — долгожданная весть: продукт наконец-то попал в пробирку и оттуда переправился в давно ожидавшее его гормональное логово. И это к тому же мальчик, если репродуктолог не врёт. Сын? К своему удивлению, Кнут едва ли этому рад, скорее удовлетворён: он исполнил свой брачный долг. Хотя сам брак не становится от этого лучше или хуже, да его, похоже, вовсе и нет. Есть общий счёт в киевском банке, и много ещё валюты предстоит отмыть.

16

Утром Кнут просыпается раньше обычного, не сразу понимая, в чём дело. Он поздно лёг, не принял на ночь таблетки, и теперь никак не может взять в толк, что с ним такое: у него ничего не болит. Годами он с трудом поднимался по утрам с постели, заранее проклиная начавшийся день, с его отупляющей суетой, но сегодня с него словно смыло изнурительный недуг, и чтобы окончательно убедиться в этом, он скачет на одной ноге, потом на другой... Неужели этот мальчишка прав, намереваясь вылечить беседой иначе никак не излечимый ревматизм? Спустившись в библиотеку, где Филя сидит уже за широким письменным столом, листая технические журналы, Кнут молча на него смотрит, стараясь уяснить, что в нём такого особенного, что даёт ему уверенность в этом странном лечении беседой. Нормальный врач только посмеётся над этим, но Теофил... да и врач ли он вообще? Сидит тут за рабочим столом Кнута и изучает устройство дронов.

— Вижу, тебе уже лучше, — приветствует его Филя, — но я скоро уеду и...

— Останься ещё на месяц, на три месяца...

— Твоя болезнь, — пристально глядя на отца, поясняет Филя, — это всего лишь душевное заблуждение, эгоистическое томление, вступающее в спор с телесными силами жизни. Ты достигаешь поставленные в жизни цели, но лишь ради себя самого, и то, что, как тебе кажется, ты любишь, ты стремишься присвоить как собственность, как вещь. Загоняя себя в мир непостоянства и ненадёжности, ты становишься врагом самому себе, и те, что оказываются рядом, отражают тебе обратно твою перед самим собой вину. Твоё тело истощено многолетней, напрасной борьбой с твоими же душевными устремлениями, и этот душевный яд проникает всё глубже и глубже, растворяя последнее, что у тебя осталось, твою тоску. Ты уверен, что это тоска о чём-то внешнем, что можно найти, стоит только захотеть. Но в этом как раз и проявляет себя твоя бесчувственность: ты путаешь свои внутренние переживания с обстоятельствами внешней судьбы. Так что ищи лекарство в себе самом, но сначала ты должен решиться сказать себе правду о самом себе, решиться на самопознание, тогда в тебе проснутся целительные силы.

— Не знаю, врач ты или не врач, но мне в самом деле стало намного лучше, — сев за стол напротив, признаётся Кнут, — ведь это я сам держал себя на привязи моей репутации среди знакомых, на привязи их мнения о моём счастливом браке, но что, если теперь я смогу вдруг оказаться на воле... Думаешь, это не опасно?

— Опасно плыть по течению, хоть это и приятно. Ради грязных денег ты производишь ненужные тебе самому вещи, убеждая себя в том, что делаешь это свободно, что сам только того и хочешь...

— Я должен производить дроны, — сухо уточняет Кнут, — идёт война, спрос на эти летучки огромный. И я должен наконец тебе сказать, что там, на Украине, теперь мой сын... — он с тревогой смотрит на Филю, — он родился в Киеве почти одновременно с тобой, родившимся в России, вы словно близнецы...

— Я знал, что у меня есть брат, — спокойно произносит Филя, — знал его в прежней моей жизни, знал как моего убийцу. Но разве мы не должны перестать бояться жить со злыми?

— Вам не следует встречаться, — на всякий случай предупреждает Кнут, — ты русский, он украинец, не следует ничего друг о друге знать. Скажу лишь, что он наследник моей фабрики, но ни он, ни его мать не знают, что есть ты.

— Можешь не называть мне его имя, — чуть заметно улыбнувшись, произносит Филя, — я знаю и так: его зовут Александр, да, Шура.

Испуганно уставившись на сына, Кнут молчит. Этот, совсем ещё мальчишка, слишком умён, не исключено, что он попросту русский шпион, теперь ведь даже киты и дельфины всюду шпионят. Но даже если и шпион, с ним приятно общаться, словно тёплая ладонь гладит тебя по волосам, а ты сидишь и жмуришься на солнце.

— Не знаю, с чего ты это взял, — уклончиво произносит Кнут, — давай об этом не будем. Ты уедешь, он останется здесь, каждому своё. И если эта

война когда-нибудь кончится, я приеду тебя навестить.

Кнут навещал Инну, пожалуй, слишком часто, не считаясь ни с утомительной дорогой, ни с любопытством её соседей. Он вряд ли помнит, что сказал ей перед её отъездом в Россию, он вовсе не считает, что попросту выгнал её вон, он её... устроил: квартира, деньги, вещи. И когда пришло время родить, он примчался прямо в роддом, и оттуда они уже втроём вернулись в скромно обставленную однокомнатную хрущёвку. Впрочем, он приезжал не к ней, но к своему первенцу, так незадачливо проклятого им ещё до рождения, приезжал дважды в год, пока не захлопнулась с обеих сторон граница. Но Киев остаётся открытым, и грязный денежный поток по-прежнему ломился в украинский банк. Счастье тоже бывает настойчивым.

17

Сев на ту самую скамейку, где когда-то прощалась с садом и домом его мать, Филя смотрит на бабочек, их так много этим летом. В июне доцветает сирень, распускаются первые розы, и всюду, где нет тени, белеют головки клевера, зазывая ос и пчёл. На одном лишь кусте жасмина теснится несколько десятков крапивниц, то и дело взлетающих и садящихся обратно, ничуть не потревоженных проносящимися мимо шершнями. Эти хищные осы, рвущие крепкими челюстями всякую мошкару, в считанные минуты расправляются с пчелиным ульем, и даже прячущимся под камнями маленьким пятнистым ящерицам грозит молниеносная расправа: одним своим жалом шершень пользуется несколько раз. Но бабочки... они словно играют со смертью, дразня яркими красками ненасытного хищника, спасаясь от него бегством, и ни одна из них не становится жертвой, почти уже ею став: оса улетает ни с чем. Эти тяжёлые, скоростные снаряды, порой зависающие в воздухе перед свирепой атакой, хватают налету добычу, рвут на куски, скармливают своим прожорливым личинкам. Но ни одна бабочка не оказалась ещё растерзанной в неприступной осиной крепости, с оторванными крыльями и откушенной головой. Вель сам её полёт — полная непредсказуемость для неё самой, неподвластный земным законам танец в солнечном свете. Лишь свет, в его непрестанном волнении, в его мерцающей игре, и может указать бабочке направление, придать её полёту скорость. Мощь света безгранична, и бабочка летит, танцуя, против свирепого северного ветра. И как бы ни пытался разогнавшийся на охоте шершень схватить налету сладкую добычу, ему это не удаётся никогда: он попросту проносится мимо, оставляя бабочку в её солнечной игре.

Вот оно, внезапное решение этой затянувшейся войны: неуязвимость полёта. Снаряды-шершни оказываются бесполезными там, где вступает в силу солнечный свет. И если построить такой дрон... Филя идёт в отцовскую библиотеку, садится за письменный стол, читает журналы... нет, здесь одна лишь прямолинейность, пусть даже в виде параболы... Он снова идёт в сад, и

бабочки садятся ему на плечи, на рукав белой рубашки, на тёплую от солнца ладонь. Он проводит с ними весь день, проникаясь свободой их невесомого воздушного танца, он сам становится бабочкой.

И только ночью он узнаёт тайну мотылька и крапивницы, тайну их солнечной жизни.

Он смотрит издалека на своё лежащее под одеялом тело. Спящее, покинутое душой, оно гонит прочь дневную усталость, буйно прорастая новыми силами жизни, оно словно зеленеет, цветёт, переживая свою весну, и чем глубже и глуше сон, тем сильнее в нём целительные силы жизни. Так спит с ранней весны и до самой осени земля, покрываясь зеленью и цветами, не ведая, что с ней происходит, и только к осени к земле спускается с высот её душа, и земля начинает томиться, мечтать, обретая зимнюю ясность сознания, в холоде, под снегом и подо льдом. Но летом, в разгар её сонного плодоношения, из её недр выходит наружу ещё и иная душевность, в своей древней мощи грозящая надломить звёздный порядок времён года, дня и ночи. Душевность слепая, алчная, страстная. Душевность глубинных слоёв земли. Летний запах серы, горения и цветения, сладострастия и похоти окутывает тело земли своим ядовитым покрывалом, делая мысль неподъёмно тяжёлой, неповоротливо вялой. И кто же найдёт в себе силу воспротивиться сладостному безмыслию?

Видя своё отдыхающее, цветущее в глубоком сне тело, Филя старается удержать ясное сознании дня, остаться верным себе. Только так ведь и можно задать себе вопрос, на который днём нет ответа, дозваться до своего «ночного», высшего Я.

Он видит в глубинах сна: к нему приближается человек. Он где-то встречал его раньше, хотя и не знает, кто он, и человек этот явно к нему расположен. Совсем уже рядом, незнакомец приветливо произносит:

— Ты стал мне интересен с тех пор, как получил пулю в сердце. Я было уже подумал, что ты не выживешь и отправишься сюда, ко мне, я ведь не так давно умер. Но ты, успев побывать за порогом, предпочёл жить дальше, со своими новыми способностями, и с тех пор я слежу за тобой, хотя только сейчас мне удалось к тебе приблизиться.

— Но ты ведь мне только снишься, к тому же ты мёртв... — пытается возразить Филя, — что из того, что я слышу теперь эти слова...

— Ты услышишь гораздо больше, если прислушаешься, услышишь всё о бабочке-дроне, будь начеку, бодрствуй! Я здесь, а ты всё ещё там и склонен видеть лишь внешнее, тогда как само качество бабочки, её живая душа, здесь, возле меня, и ты сейчас всё узнаешь...

Утром, едва проснувшись, Филя спешит в библиотеку, надо успеть нарисовать то, что показал ему во сне незнакомец, пока память удерживает детали странной картины. Да и сон ли это был? Теперь, впрочем, неважно, теперь нужны руки, чтобы построить эту первую бабочку.

Он едет с отцом на фабрику, намереваясь сразу приступить к делу, он знает теперь, что надо делать, и кто-то ведь должен ему помочь. В цехе всего несколько рабочих, и Филя присматривается, больше доверяя чутью, чем глазам, и неспеша подходит к щуплому, чуть старше его самого, парню. Он здесь вроде муравья, всегда чем-то занят и находит в устройстве дрона то одну, то другую ошибку, тут же подсказывая, как её исправить, для него это вроде игры. Едва глянув на рисунки, муравей удивлённо смотрит на Филю: откуда такая дикая фантазия? Пока ещё ни один инженер не позволил себе такого: отказаться от прямолинейно летящей стрекозы в пользу капризно петляющей в воздухе бабочки. Должно быть тут задействован не просто дерзкий ум, но совершенно невообразимый, потусторонний взгляд на самые обычные вещи. Эти рисунки сделаны наспех, словно под чью-то диктовку, в них схвачено лишь главное, тогда как подробности предстоит выявить самому муравью...вот ведь какая игра! Никто не поверит, что всё это задумано всерьёз, поэтому никто и не будет мешать, и пусть эта бабочка останется для всех тайной.

Она появляется на свет лёгкой, почти прозрачной, размером с ладонь. И как только солнечный луч касается её крыльев, на них тут же появляется пёстрый узор крапивницы, а усики — антенны начинают шевелиться. Сложив и снова раскрыв крылья, бабочка вдруг срывается с места, и словно вихрь уносит её прочь...но вот она снова здесь, и её раскрытые крылья впитывают солнечное тепло. Она готова лететь куда угодно, подхваченная попутным ветром и против него, лететь ночью, в снег и туман, лететь над морем..., и она снова вернется на раскрытую для неё ладонь.

18

Привыкнув вставать поздно, принцесса Лаура выходит на балкон только к полудню, когда стеклянная дверь становится сверкающимся на солнце диамантом, и по паркету ползут красные, фиолетовые, зелёные отражения цветных квадратов. Лауре нравится смотреть по утрам со второго этажа на зеленеющий круглый год газон и будку вахтёра, и неизменность этой картины приносит ей уверенность в том, что сюда не вломится ненадёжный, отравленный честолюбием и похотью мир. Мир, желающий от неё, принцессы, того же самого. Здесь, на этой королевской вилле, можно позволить себе не быть с остальными заодно, не раскачивать вместе с остальными тонущую уже лодку, позволить себе не быть принцессой. И тот, кто часто остаётся здесь на ночь, должно быть догадывается, что кроме принцессы Лауры есть ещё и неизвестная ему гостья, случайно оказавшаяся в королевском дворце. Но этот, ночующий здесь, не желает ничего знать о никому не известной, приходящей и уходящей гостье, с самого начала разминувшись с ней. Он помолвлен с принцессой Лаурой, и оба они знают, что это правильный выбор. Пройдёт время, Лаура станет королевой этой богатой, вздорной, зазнавшейся страны, а сам он — королём, пусть даже и

родившимся в Киеве.

Выйдя на балкон, Лаура поливает из лейки дышащие свежестью утра левкои, и видит сидящую на каменном парапете необычных размеров бабочку. Пятнистая, размером с ладонь, такие в этих краях не водятся, сюда не добраться с альпийских лугов, прельстившись коротким, прохладным летом. То раскрывая, то складывая крылья, бабочка словно не чует никакой для себя опасности, греясь на полуденном июньском солнце. Поймать, засушить, повесить под стеклом на стену! Осторожно попятившись обратно в спальню, Лаура сообщает шепотом новость тому, кто ещё в постели. Он тут же встаёт, подходит к балконной двери, настороженно смотрит.

— Никакая это не бабочка, — испуганно произносит он, обернувшись к Лауре, — это же боевой дрон! Покушение на королевскую семью! Прочь из спальни, скорее!

Но Лаура словно не слышит, снова выходит на балкон, протягивает к бабочке раскрытую ладонь..., и бабочка тут же взлетает, прихотливо кружась над ящиком с левкоями, и её словно уносит ветром... «Это может быть только он, — в смятении думает Лаура, — он шпионит за мной!» Подсматривать за принцессой, как она встаёт с постели, накидывает на голое тело шёлковый китайский халат, находит босой ногой меховые тапки... Принцессе всегда есть что скрывать, и ни один на свете боевой дрон не вышибет из неё это признание: ей вовсе не охота быть принцессой. Но как будущему главнокомандующему всеми имеющимися в стране войсками, ей необходимо уже сейчас прикинуть: как быть в случае разгрома, капитуляции, а также мирного с врагом соседства. И пусть этот шпион, поджидающий её возле вахтёрской будки, расскажет всё по порядку: об условиях своего шпионского труда, страховке, почасовой оплате... Лауре вовсе не страшно пройтись с ним вдоль оплетённой жимолостью чугунной ограды, туда и обратно, заранее предупредив вахтёра держать палец на кнопке сигнализации. Не страшно ещё и потому, что в королевской казарме полно ребят, готовых уступить ей не только свою постель, но также и свою, пропахшую клопами и кокаином жизнь. Так что смелее, Лаура.

Не дожидаясь завтрака, она надевает военную форму, натягивает на скрученную бубликом косу синий берет, ловко отдаёт самой себе честь перед зеркалом. И тот, кто теперь в ванной смывает с себя пот почти уже королевской бессонницы, может пока вздремнуть под душем, защищённый от вражеских дронов пуленепробиваемым стеклом.

Оказавшись за чугунной оградой, Лаура смотрит по сторонам: ну, где же ты, шпион. Здесь редко проезжают машины, в этих заповедных местах, в самом центре столицы, строго поддерживается гигиеническая тишина, не желающая иметь дело с многокультурным шумом. Внезапно Лаура оборачивается: шпион стоит у неё за спиной, стоит по стойке смирно. В нём сразу угадывается солдат: крепок, серьёзен, пытлив. Пшеничный чуб, голубые глаза, плотно сжатый, без улыбки, рот. Едва кивнув ей, он отступает на шаг, словно собираясь уйти, шпиону ни к чему суетиться.

— Пойдём что ли выпьем кофе, — неуверенно произносит она, — я ещё не завтракала...

Поблизости нет ни одной забегаловки, и они сворачивают к бензоколонке, с семи утра зазывающей водителей горячими, в булке, сосисками. Едят здесь стоя, каждому дорого время.

— Эта твоя игрушка, — кивнув на сидящую на плече Фили бабочку, признаётся Лаура, — надоумила меня надеть военную форму еще до завтрака, это ведь боевой дрон, не так ли?

— Дрон-убийца, — охотно подтверждает Филя, — таких ещё ни у кого нет. И поскольку война сегодня ведётся против заразной, пандемической глупости, необходимо кому-то задействовать свой ум....

— Не набивай себе цену, — осаживает его Лаура, — я знаю и так, что ты кое-что смыслишь, иначе твой старый ялик не обогнал бы королевскую яхту. И мне плевать, шпион ты или нет, мне интересно, как устроена эта бабочка.

— Объяснить это невозможно, тут нужны иные понятия, а не те, что применимы лишь к видимой части реальности...

— Брось болтать, мне нужно это знать, придёшь и расскажешь, вахтёр пропустит тебя,

— Вахтёр уже пропустил убийцу, проспал.

Горячие, в свежей булке, сосиски.

19

Филя не раз заходил в покинутые украинские дома. Это ведь не просто так, бросить всё и удрать, это намёк на несостоятельность прошлого. Счастливо бездумное, ограничившее себя интересом лишь к внешним предметам и впопыхах сочинённой кем-то, столь же внешней истории, это прошлое вело украинца к невозможности выживания на этой тучной, плодородной и к тому же русской земле. Зато у растерявшегося малоросса появляется другая возможность: куда-то бежать, проситься, клянчить, угрожать. И вот уже двадцать с лишним миллионов счастливчиков роют носом чужие мусорки и занимают с утра очередь за просроченной жратвой. И эти покинутые дома останутся для них недостижимой в изломанной жизни целью, и тот, кто всё же сумеет вернуться, вряд ли узнает самого себя.

Заплесневелый в кастрюле суп, остатки торта в отключенном холодильнике, высыхающая на подоконнике фуксия с похожими на слёзы, поблекшими цветами, всё ещё увешанная игрушками, осыпающаяся новогодняя ёлка... Тогда Филя и перестал верить в достаточность неизбежной над глупым хохлом военной победы, он понял тогда, делясь сух пайком с бездомной собакой, что истину невозможно завоевать, как завоевывают имущество и

землю, к истине можно лишь быть допущенным, терпеливо и смиренно служа ей. Истина и есть то единственное, к чему стремятся не ради себя самого, не ради этой короткой жизни. Ради неё, вспыхивающей в сердце лишь на мгновенье, солдат жертвенно отдаёт свою жизнь, не ожидая ни ордена, ни даже отмены банковского долга, и в этом его, солдата, победа над самим собой, обычно сонным и скучным. Но победит ли себя расторопно ухлёстывающий за Бандерой хохол? Победит ли себя вмазанный в европейский хаос украинец?

Война закончится лишь тогда, когда солдат, срастаясь с алчным механизмом зла, в перегретом ненавистью пекле, поделится с врагом последним: припрятанной глубоко в душе каплей любви. Зло не выносит сострадания к себе, не выносит терпеливый на себе взгляд того, кто готов спасти это зло от него самого, вывернуть зло наизнанку.

Однако солдатский долг, долг убивать, по-прежнему в силе, время свободы, отменяющей власть долга, ещё не пришло. Время отказа от завоеваний, время доверия к своей нерождённости, время Грааля.

Но что он скажет теперь принцессе, этой будущей королеве Лауре? Судьба поставила их друг против друга, и между ними — война, смыслом которой становится пристрастная статистика смерти. Пройдя мимо вахтёра, он неспеша обходит сад, словно только за этим и пришёл, останавливается возле пруда с красными рыбками, заглядывает в оплетённую глициниями беседку. Сюда нет доступа озабоченности малым и повседневным, здесь всё должно приносить только радость, радость... и самой большой из всех этих радостей остаётся то, что никакой закон королю не указ.

— Иди же сюда, — окликает его с балкона Лаура.

Вахтёр у входа в дом пропускает его, едва на него глянув, и роскошь королевской прихожей готова его ослепить: бетон и металл, серое и чёрное, стальные вазы-трубы с тенелюбивой, не выносящей солнца зеленью, квадраты ламп, мёрзнущее без оправы зеркало. Всё, как тому следует быть в приличном доме, без лишних признаков жизни, а то ещё подумают, что здесь живут. Королю и уж точно принцессе жить вовсе не обязательно, достаточно раз в год помахать с балкона рукой толпе разноязычных мигрантов, согнанных к королевскому дворцу нуждой в ещё более захватывающем благоденствии, захватывающем их родовой инстинкт безудержного размножения. Правда, и сюда, в черно-серую королевскую роскошь, пробивается радужный намёк на ползучий, многополый транс, и всем, кто ещё сомневается, становится ясно: монархия в трансе.

Возле застеклённого камина громоздится тяжёлое дедушкино кресло, забытое здесь ещё прадедушкой накануне его бегства в соседнюю, через лужу, Англию. Прадедушка драпал тогда от заразной германской идеи превосходства белой расы над всеми остальными, тогда как дедушка, больше уже не сомневаясь в своём расовом равенстве с негром, распорядился отменить слово «раса», наряду с крайне неприличными словами «викинг» и «норман». И вот, не советуясь с дедушкой, принцесса Лаура предлагает

русскому, и к тому же шпиону, чашку английского чая, намеренно усадив его в антикварное прадедушкино кресло. Сев, напротив, на кривоногий рококо-стул, Лаура пытливо смотрит на гостя, словно вот-вот выдаст важную государственную тайну. И поскольку сам он молчит, она спрашивает его напрямик:

— Ты знаешь, в чём смысл жизни?

Ей самой не раз задавали этот вопрос, тут же подсказывая ответ: кроме благоденствия, никакого другого смысла в жизни нет. Даже красные рыбки в пруду, и те благоденствует, ежедневно получая сухой корм, а уж принцесса-то, на полном государственном обеспечении, и подавно. Благоденствие хорошо уже тем, что не нуждается ни в какой морали, полностью укладываясь в стабильность единственного правила: больше того же самого.

— У Бога не было ни малейшей нужды создавать человека, — охотно поясняет Филя, — поскольку всё, на что человек способен, у Бога и так имеется, но Бог не эгоистичен и создал своё подобие исключительно из любви к этому своему творению.

— И что из этого вышло? — язвительно перебивает его Лаура, — Один только мелкий мусор, ничтожные устремления... а сколько кругом извращенцев и психов!

— Постепенно придавая человеку его нынешнюю форму, Творец наделил нас свободой выбора, в том числе и свободой отрицания Бога, и это для того, чтобы отсеять слабое, непригодное к дальнейшему росту. Направив своё творение вниз, в материальный мир смерти, Творец заранее позаботился о том, чтобы творение смогло вернуться к нему обратно, со своим новым опытом любви и свободы, для чего и был послан на землю Божественный Сын, принёсший с собой ничем не одолимую силу подъёма. И независимо от того, верят в Христа или нет, Его подъёмная сила пронизывает всех и каждого, и каждый в отдельности решает сам, куда ему, вниз или вверх.

— А что тут решать? — так же язвительно вставляет Лаура, — Вниз катиться приятнее, легче, внизу тепло, тогда ка наверху пронзительный ветер и холод. Сегодня все хотят вниз! Знаешь, сколько мразей и негодяев было в нашей благородной королевской семье? И порой мне кажется, что это не мы, короли, правим миром, но кто-то, куда более властный, правит нами.

— Так оно и есть, — кивает Филя, — монархия всего лишь экзотический фасад глобального мясокомбината, которым заведует сам антихрист. Этот затаившийся в недрах земли зверь знает всё наперёд и вовсе не намерен допускать взросление и созревание пока ещё слабой и наивной человеческой души. Зверь давно уже пронюхал, что германцы и русские построят культуру Христа, соединив одухотворённый ум с мудростью сердца. Зверь не желает допускать этот будущий плодотворный брак, постоянно стравливая немцев и русских, погоняя тех и других кровожадным звериным патриотизмом. Вот и теперь, в этой затянувшейся украинской мясорубке, русскому противопоставлено якобы «германское», карикатурно напялившее на себя

давно изношенную гитлеровскую униформу. Этот кукольный спектакль с сотнями тысяч трупов антихрист поручает ставить своему верному холопу, искушённому во всяких пакостях Сатане, и вместе они дёргают за прочные финансовые нити королей и президентов, развращая фальшивым единомыслием целые правительства.

— На днях я встречалась с нашим премьер-министром, — беззаботно сообщает Лаура, — он показал мне свою контору, попутно поясняя, зачем он там сидит. И мне показалось, что сидит он не просто так, ради скудной по королевским меркам, зарплаты. Он сидит там в силу своего глубочайшего убеждения: надо как можно скорее разрушить эту страну. И он хорошо с этим справляется. Я же развлекаю негров и прочий цветной сброд, а теперь ещё и сбежавших от войны украинцев, махая им с балкона рукой, такая у меня работа. Никому из них тут не место, в этой маленькой, скупой, своенравной германской стране, и мне самой, с моей голубой королевской кровью, бывает здесь неуютно. Так в чём же тогда смысл моей столь высокооплачиваемой работы?

— Смысл не только твоей, но и всякой другой работы, — уточняет Филя, — мог бы состоять в том, чтобы делать что-то для других, не требуя за это награды, это великий смысл. Иначе работа становится гложущей скукой повторения одного и того же, всегда одного и того же. Убей в себе эгоиста, персону, убей принцессу, прислушайся: в твоём сокровенном одиночестве начинает звучать твоё высшее существо, твоя нерождённость...

— Ладно, я подумаю, — Лаура подходит к окну, и матовый свет медлительного летнего заката обнимает её худощавую фигуру, — Останешься ночевать? Уже полночь.

Уже не успеть на последний поезд, только что ушёл автобус, а идти до дома пешком можно всю ночь. Кивнув, Филя поднимается вместе с ней на второй этаж.

20

Разве это не странно, попасть из пропахших дымом и кровью окопов в королевскую спальню? Широкая белая кровать с пуховым одеялом, розовый мрамор ванной. Обычно здесь спит принцесса, но теперь она уступает свою постель гостю, перебравшись в соседнюю комнату. И хотя ночное небо всё ещё отсвечивает алыми полосами заката, Филя тут же засыпает, нисколько не беспокоясь о том, какие сны ломятся ему навстречу. Он видит себя в чужом доме, куда забрёл вместе с Лаурой, но она торопит его уйти, хотя кругом лес и никто из них не знает дороги. Они идут и идут, и вот наконец вокзал и спешащие к поезду люди, и оба они идут следом за ними. Всем надо поскорее уехать туда, где накормят, где можно прилечь, где к тому же не скучно. И только на конечной станции кто-то жалеет, что прибыл, тут всё не так, как

когда-то казалось. В просторном, с высоким потолком, помещении тесно стоят обеденные столы, и оба тут же заказывают себе еду, усевшись ждать. Они ждут и ждут, но еду несут кому-то другому, и нет уже сил надеяться. На столе у них лишь горький напиток, вовсе не утоляющий жажду, и Лаура, отчаявшись, встаёт и уходит. Но он всё ещё ждёт, теперь уже ждёт её, и чужие вокруг люди косятся на него с опаской и неприязнью, и никто не подскажет, где Лаура. Теперь и ему не сидится на месте, и он находит дверь, но просто так её не открыть, а у него с собой ни гроша. Сев на замусоренный перед дверью пол, он плачет... Он плачет так много лет, и дверь словно оттаивает, постепенно приоткрываясь, и он видит тесно уставленную железными койками больничную палату. Здесь все давно уже мертвы, но делают вид, что спят, по одиночке или вдвоём, здесь все друг другу врут. Он срывает с кого-то в ярости больничное одеяло, он этого не потерпит, он не такой, как они. И тогда он видит её, неузнаваемо бледную, мёртвую. Как ей подняться?.. как отсюда уйти?

Проснувшись, он чувствует на щеке тепло чужого дыхания, чья-то ладонь лежит у него на груди. Она здесь, с ним, сейчас!

Положив голову ему на плечо, Лаура шепчет, горячо и нетерпеливо:

— Не спи, я же здесь...

— Тебе не следует быть здесь, — спокойно отвечает Филя, — ты помолвлена с Шурой, у вас скоро свальба.

— Ну и что? Свадьба свадьбой, но он никогда не будет мне мужем.

Повернувшись к ней, Филя молча на неё смотрит. Он не станет ни о чём её спрашивать, он тут всего лишь гость. И словно угадав его холодную решимость, Лаура выдвигает ящик стоящей возле кровати тумбочки, перебирает лежащие там интимные игрушки.

— Вот он, мой счастливый брак, — с усмешкой произносит она, — и среди всей этой дряни моим фаворитом остаётся Фритьоф Нансен, — она находит среди разноцветных имитаторов счастья свински розовый, огромных размеров, инструмент безопасной любви.

— Да, но почему Фритьоф Нансен? — невозмутимо интересуется Филя.

— Когда у нашей центральной газеты стало недоставать читателей, решено было зайти с тыла и взять крепость одним прицельно точным ударом: на первой полосе засиял свисающим с дивана лошадиным куком любимый всеми арктический герой, три года дрейфовавший на отколовшейся льдине. Голый, совершенно голый Нансен! Снимок с натуры сделал он сам, и притом для одной американской дамы, активно выманивающей его из законного брака. Эта американка делала вид, что не хочет ехать у нему сюда, и он посылал ей себя в таком вот голом виде, лёжа, стоя и сидя, желая хоть как-то её и себя утещить. Куда легче дрейфовать на льдине, три года подряд жрать медвежатину и натираться тюленьим жиром, чем сношаться через океан с американкой, даже с такой, потрёпанной и толстой, ни разу не стоявшей на

лыжах. Он так и не узнал, что она служила в американской разведке и имела задание угнать арктического героя в Америку.

— И как же читатели газеты вынесли этот порнографический шок? — смеется Филя.

— Все были страшно возмущены, гнев был всенародный, но в конце концов все успокоились на том, что такой вот, совершенно голый, Фритьоф Нансен стал им ещё ближе.

Положив розовый кук обратно в ящик, Лаура устраивается поудобнее на плече гостя, до утра ещё далеко. И чтобы как-то скоротать время, она нашёптывает Филе свои предсвадебные секреты: каково ей теперь с тем, кто никогда не станет ей мужем.

— У него никогда не будет детей, он бесплоден, да, немощен, и желая как-то отомстить природе, он покупает эти игрушки, и его ненависть, можно сказать, ненависть к любви, только растёт. Меня это, впрочем, забавляет, хотя порой он переходит красную черту и больно меня кусает или принимается щекотать. Но об этом никто никогда не узнает, а дети... их всегда можно купить.

— На Украине, — мрачно подсказывает Филя.

Некоторое время они лежат молча, слыша дыхание друг друга, и светлая июньская ночь овевает покоем их общую тайну: «Я знал тебя раньше».

21

На рассвете в спальню неслышно заходит Шура. Бросив на стул пиджак, в белой рубашке с галстуком, он снимает ботинки, идёт в ванную, хотя помыться можно и утром, тем более, что уже почти светло. Вернувшись в сонную предутреннюю тишину спальни, он видит поднявшуюся с постели Лауру, хотя обычно она валяется до полудня. В длинной ночной рубашке, она стоит между ним и постелью, явно что-то задумав. И она тут, ага, не одна!

Успев натянуть только джинсы, Филя неспеша делает к нему шаг, на расстоянии узнавая запах кокаина, чем обычно разит от пленных украинских солдат. Этот имитатор боевого духа действует всегда одинаково: высшее пожирается в человеке низшим. Именно этого так яростно вожделеет антихрист: не позволить ни одной душе нести в себе дух, вмять человека в тупую животность. И если всякое животное управляется мудрой групповой душой, то человеко-животное следует лишь приказам Сатаны, хитроумно замаскированным под сиюминутное «добро». Разве украинский солдат не уверен в святости своего самоубийства? А этого ведь не избежать, действуя против воли Русского Архангела, владеющего как Москвой, так и Киевом. Архангел будущего народа Христа крайне неприятен антихристу, и что только не делается послушным антихристу Сатаной, чтобы подменить живой архангельский дух — дух народа — мёртвой схемой «русского мира». В силу

своего провинциального недомыслия называющий себя «украинцем» русский лезет в первый ряд убеждённых самоубийц, выносящих из прожитой жизни лишь иллюзию победы... над своим же родным братом. И невдомёк идущему на забой хохлу, что это заботливая британская рука сует ему под нос кокаиновую дозу, как раньше прикармливала кокаином большевистский бедлам, а ещё раньше — запутавшийся в драконьих грёзах Китай. Кокаиновая иллюзия неимоверно возросшей силы даёт антихристу бонус, и грязный поток подземных страстей сминает остатки изломанных мыслей: теперь только вперёд... к смерти. Так что же, устроить драку прямо тут, в спальне будущей королевы?

Даже в белой рубашке с галстуком Шура вполне боеспособен, и сейчас он покажет незваному гостю... покажет складной солдатский нож, незаменимый в ближнем бою.

Только бы не промахнуться, всадить под ребро, в самое сердце...

— Между нами ничего такого не было, — пылко предупреждает его Лаура, — совсем ничего!

— Это дерьмо лежало в твоей постели, — в гневе перебивает её Щура, — тогда как там имею право лежать только я! Ступай в казарму к своим солдатам, шлюха! А ты, — он крепче сжимает в руке нож, — откуда ты, такой, взялся?

— Он всего лишь мой гость, — ничуть не смутившись, настуцает на него Лаура, — сбежал от русской мобилизации и намерен воевать за Украину, — она подмигивает Филе, — изобретатель уникального дрона-бабочки...

— К чёрту твоих бабочек, — Шура с размаху всаживать нож в стену, — чем вы тут занимались? Пока я был на ответственном совещании... — для убедительности ударив кулаком по комоду с зеркалом, он смахивает на пол косметику и парфюм, садится на хрупкий рококо-стул, и теперь уже деловито, попав в другую струю, докладывает, — Мы запускаем новый наступательный проект, будем бить по Москве прямо отсюда, из пригорода Осло, с американского военного аэродрома... — он вдруг замолкает, смотрит в упор на Филю, — Даже если ты шпион, ты уже наш, я сам займусь тобой. Что там у тебя за бабочка? Порхает без дела по королевскому балкону? Я же видел, вполне боевой дрон, сколько в него ни целься, не собьёшь. Нагрузим её... знаешь, чем? Теперь у нас есть мини-нюки, из Израиля, проверенные на палестинцах. Нюкнем по Москве так, что сразу наступит вечный и справедливый мир. Мини-нюк в брюхе дрона, это начало новой украинской истории, и все мы тут, в Осло, откажемся даже от вяленой трески и тушёной с капустой баранины ради этой великой над Москвой победы, да пусть хоть вся эта страна ляжет на нефтеносное дно!

Запах кокаина не скоро выветрится из спальни, так воняет и в казарме, куда Лаура ходит учиться быть главнокомандующим. Без кокаина никак нельзя, умрёшь от скуки, видя врага лишь на экране, сытого и принаряженного. Воевать с таким врагом — одна морока, разве что мародёры-поляки рванут в

бой, на добычу чужих стиральных машин и трёхлитровых, с огурцами, банок. А если ещё и литовцы, французы... им всем понадобится много кокаина. В комоде у принцессы припрятано двести с лишним доз, на случай внезапного наступления, и время вот-вот придёт...

— Завтра, то есть уже сегодня, принесёшь мне эту бабочку, — строго распоряжается Шура, — мне нужны такие, как ты, предельно наглые, готовые проникнуть хоть дпже в спальню принцессы. А если ты шпион, тем лучше, мы раскрутим тебя вроде юлы, с грохотом и воем. Ты ведь хочешь заработать и стать известным? Все этого хотят.

— Вы чем-то похожи, — щепчет Лаура на ухо Филе, как только Шура скрывается в ванной, — и если не перегрызёте друг другу глотки, то сойдётесь.

Она смотрит, как Филя неспеша одевается, смотрит на шрамы у него на спине и на груди, их вид ей приятен.

22

Проспав почти весь день, Лаура спускается в полуподвал, где есть тренажёры и небольшой бассейн, ей надо быть к вечеру в форме. Пора раскусить этого шпиона-не-шпиона, имени которого она даже не знает, пора уже дать ему имя. И пусть охранник, что внизу, пока не спешит звать полицию. Из всех своих вечерних платьев Лаура выбирает чёрное, специально для похорон, и назло всякому, в том числе и своему вкусу, надевает синий военный берет, сдвинув его на самое ухо. Стоя перед зеркалом, она отдаёт самой себе честь, и зеркало словно подмигивает ей, норовя выползти из золоченой рамы: почти уже королева.

Но даже будучи пока что принцессой, Лаура вовсе не намерена кого-то ждать, и даже думать о ком-то ей в тягость, и уж тем более о ком-то беспокоиться. Всё это так по-человечески, так не по-королевски. Однако время не даёт себя гнать галопом и рысью, и с этим надо считаться. Брызнув на чёрный сатин похоронным парфюмом, Лаура выходит в сад, направляясь прямо к рыбьему пруду, и вот уже стая мальков, не успев стать для остальных живым кормом, несётся ей навстречу...

— Ты уже здесь: — удивлённо произносит она, заметив на скамейке Филю, — давно?

— Я здесь целый день, в мыслях, — непринуждённо отвечает он, — думаю о твоей неустроенности...

— Что ты болтаешь, — сердито перебивает его Лаура, — я же принцесса и вполне утроена... то есть всё устроено как раз для меня!

Сев рядом на скамейку, она смотрит, как и он, на суетящихся возле бортика красных рыбок, им нужен только корм, корм...

— Он сегодня не придёт, — сухо докладывает она, — срочно вылетел в Киев, там же теперь, ты знаешь, все готовятся к победе... он и сам к ней готовится, покупая за гроши брошенные поля и целые деревни, он станет, вот увидишь, олигархом, как это там у них называется, он подарит мне к свадьбе конный завод с породистыми рысаками, это целое состояние. Но ты... — она разворачивается к Филе, — ты слишком много узнал в прошлую ночь, теперь ты пленник, закованный в цепи... в цепи молчания. И знаешь, зачем ты здесь?

— Чтобы узнать ещё больше, — спокойно отвечает он, — узнать, что у тебя болит.

— Никто об этом меня не спрашивает, для всех я совершенно здорова. Я тренируюсь, плаваю в бассейне, езжу верхом, хожу летом под парусом...

— Твоя болезнь незрима и потому неизлечима никакими зримыми средствами. Это болезнь судьбы, она подкралась к тебе из твоей прежней жизни, и надо уже в этой жизни найти способ лечения, иначе болезнь перейдёт в следующую жизнь...

— Судьба сделала меня принцессой, — высокомерно перебивает его Лаура, — сделает королевой. И мой предстоящий брак принесёт мне миллиарды.

— Твоя болезнь именно в этом, в твоей устремлённости к внешнему, показному, желаемому всеми, что невозможно, однако, перетащить с собой за грань смерти. Не хочешь же ты оказаться в одиночестве и нищете, с удушающим чувством вины, перед невозможностью что-то исправить.

— Зачем мне думать о смерти в мои двадцать три года? Но тебе, незнакомому и безымянному, я скажу: порой мне кажется, что меня заперли в тесном подвале, где ни встать, ни сесть, лишь ползать на четвереньках, мне кажется, что я глухонемая, и никто не придёт мне на помощь.

Пододвинувшись к ней, Филя берёт её за руку.

23

Она не знает, что заставляет её задавать вопросы, на которые никто не ответит, разве что она сама... когда-нибудь. Ей было скучно в закрытой для остальных, элитной школе, выдавливающей из свежей ещё, подростковой души сомнения, касающиеся добротности и справедливости многокультурно-демократического порядка. Откуда он, такой, взялся? Ведь совсем ещё недавно, перед заходом в страну Гитлера, люди спокойно растили хлеб и ловили рыбу, и бедность никого не пугала, поскольку сосед, даже бедный, готов был помочь. Эта северная германская окраина, всё ещё дышащая отголосками древних сновидческих мифов, медленно и неохотно принимала в себя яд суетливой и расчетливой, совершенно ей чужой американской деловитости, последним препятствием для которой и был Гитлер. Но почему

же, почему далёкая Америка вдруг оказалась для этого северного захолустья ближе Германии и даже ближе приграничной России? Не станут же когда-то уплывшие в Америку местные бедняки валить налегке обратно. Несчастье явилось внезапно, оглушив работягу радостной вестью: на дне моря нашли нефть. Неужели наконец богатство? И бывший бедняк вкалывает за двоих, не замечая, что работает ещё и на третьего. Ведь где богатство, там и тот, кто себе его присваивает, самый умный.

— Хочешь сказать, что этой, теперь уже богатой страной владеют, как и Америкой, евреи? — насмешливо произносит Лаура, — Но как же я, будущая королева?

— Ты же сама это знаешь, в мире нет короля, в крови которого не было бы иудейской примеси, проносящей через ряд поколений приземлённую мечту древнего рода: мечту о власти над миром.

— Евреи умнее других, — напоминает Лаура, — и почему бы им не рулить миром.

— Но этот ум добыт не тяжким повседневным трудом, не мучительным моральным поиском, не отказом от грубой земной пищи ради пищи небесной: этот ум еврею подарен. Ведь в самом начале, когда от Сема пошли первые семиты, Творец повернул дело так, что в мыслях и снах семита поселился Яхве, напечатлевая семитскому мозгу совершенно особые свойства, каких ни у кого пока не было, а именно, способность к комбинирующему, математическому мышлению. И эта способность стала передаваться по наследству, отсюда и стойкое нежелание евреев родниться с другими народами, делиться с ними своим божественнным даром. Другие народы прорабатывали свой мозг в ходе длительного становления культуры, тогда как евреи поумнели, не шевельнув при этом пальцем. И мало кто из них понял, что этот аванс со стороны Творца давался им не ради их собственных, нахраписты устремлений, но только для пользы общего дела: ради приготовления будущего тела Иисуса. Но, не озадаченные ничем иным, кроме внутриродового спаривания, эти бараны, заметив своё умственное превосходство над другими, сочли для себя правомерным считать всех остальных своим подножным кормом, вписав своё жестокосердие в законы мира сего.

— Вот видишь, — удовлетворённо замечает Лаура, — евреи в самом деле народ избранный!

— Вопрос только в том, доходит ли до еврея, в том числе и сегодня, для чего Творец их избрал, — спокойно возражает Филя, — ведь способность бессознательного, сновидческого контакта с Яхве была дана евреям не насовсем, но лишь на какое-то время, пока готовилось подходящее для Иисуса тело. Ведь это была не только еврейская, но общечеловеческая задача: подготовить пригодный для удержания образа Христа мозг. Никакой другой задачи евреям не поручалось, для того их и сбили в плотное стадо, этих изначально кочующих с верблюдами бедуинов. Перехваченный от монголов неодолимый зов крови, сообразительность пустынного кочевника,

но главное — нежелание терпеливо и долго, как это делали другие, выстраивать собственную культуру, сидя на одном месте, это и сделало евреев такими, какие они есть.

— Хочешь сказать, что евреи никогда не были культурным народом?

— Устройство собственной культуры отвлекло бы их от порученной им миссии. Ведь Иисус, а потом и Христос, должен был придти не в какую-то отдельную культуру, но ко всему человечеству. Впрочем, сами евреи этого не понимали и не понимают сегодня: единственной их заслугой была забота о чистоте крови, жестокий и безжалостный наследственный отбор. И как только данная им Творцом задача была выполнена, Яхве оставил «свой» народ, смысл и дальше возиться с евреями отпал. На этом, собственно, и кончается еврейская история, зримым подтверждением чего стало разрушение иерусалимского храма. Евреи должны были рассеяться по миру и перестать быть народом, перенимая культуру других, вливая в неё свою особую умственную закваску. Но не тут-то было: ожесточившиеся в долгом племенном отборе сердца оказались неспособны отказаться от кровного, родового, лунного принципа Яхве и возвыситься до общечеловеческого, солнечного принципа Христа, возвыситься до своей звёздной нерождённости, отказаться от траурной субботы ради ликующего воскресенья. При всей своей изощрённой бесконечными спорами учёности, еврейский фарисей не мог взять в толк, как бедный сын плотника оказался ещё и Богом. Они же, евреи, были озабочены только телом, кровью, а тут что-то незримое... Что? Куда проще было продолжать ждать, тупо следуя вековому закону, ждать дальше, будто ничего и не было, ждать мессию, земного царя. Вот тогда-то к оставшемуся без водительства Яхве, иссохшему в жестокосердии еврейскому стаду и стал присматриваться Сатана, крайне недовольный тем, что евреи предоставили Иисусу, а значит и Христу, подходящее для жизни тело. Со своей сатанинской точки зрения, Сатана считал незаконной принесённую Христом возможность воскресения, преодоления духом мёртвой материи. И месть Сатаны евреям заключалась в том, чтобы не только привить им ненависть к Распятому, но заставить их ждать теперь уже истинного мессию: воплотившегося в человеке Сатану. С тех самых пор евреи стали народом Сатаны, и лишь немногие из них устояли...

— Но даже и после Распятого евреи остались на высоте, ведя за собой остальных: ведь это они разрушили Рим, перед этим казнив свех до одного апостолов Христа, втиснули живое, народное христианство в церковные оковы, подменили троичную картину человека, тело-душа-дух, животной двоичностью: тело-душа, загнали науку в однобокость материализма, а сколько войн, сколько революций... и всё это устроено евреями!

— Евреи сильны только все вместе, в единстве с их групповой, стадной, опекаемой теперь уже Сатаной душой, тогда как каждый в отдельности, сам по себе, слаб и беспомощен. И лишь те немногие, кто отверг эту групповую сатанинскую общность, и смогли наконец понять, что Христос уже здесь, в них самих. Тогда как остальные, вся эта паучья, опутавшая мир сеть, с

нетерпением ждут прихода теперь уже их мессии, Сатаны в человеческом облике.

— И когда же явится этот... Сатана? — неуверенно произносит Лаура, — Хотелось бы на него взглянуть...

— Ты и так видишь его, но принимаешь за что-то другое, полезное и приятное, и так происходит со всеми. Но присмотрись к умному, интеллигентному, скромному на вид университетскому профессору, рассуждающему о благах демократии или о трагедии холокоста: вот где сатанинское мастерство впаривать всему миру примитивную ложь в качестве святой правды, и, заметь, не бесплатно.

— Скажешь об этом вслух, получишь срок, — деловито замечает Лаура, — и кругленький штраф тебе обеспечен.

— Если бы холокост и в самом деле был, со всеми своими убедительными доказательствами, не было бы смысла запрещать об этом дискуссии, поскольку святая правда о шести миллионах загазованных евреев смела бы все ревизионистские домыслы. Но дискуссии строго запрещены во всём мире, Сатана не позволяет себя разглядеть.

— Тут неподалёку как раз есть музей холокоста, — находчиво подсказывает Лаура, — и каждый год король выдаёт им премию за неустанный труд, иначе, кто знает, не начнут ли они сомневаться: они же сидят в доме Квислинга, а этот приятель Гитлера завещал дом вместе с антикварным имуществом... знаешь, кому? Народу.

— Гитлер тоже завещал народу свою коллекцию картин в провинциальном музее, но евреи растащили шедевры ещё до того, как народ об этом узнал. И разве народ узнает сегодня о том, что в глобальном плане будущего ему, народу, никакого места не отводится?

— Люди стали бы просто несчастными, узнай они об этом, — уточняет Лаура, — а так все очень довольны, всё идёт как надо... Тебе, что, здесь не нравится?

— Я всего лишь гость и скоро уеду, но мне нравится, что ты задаёшь мне вопросы... спроси, о чём хочешь.

— Как тебя зовут?

Он пристально на неё смотрит, словно желая что-то сказать, молча опускает голову. Отец велел ему молчать.

— Об этом спрашивать не надо.

Всё ещё держа её за руку, Филя неспеша поднимается со скамейки, и пусть эти красные рыбки в пруду запомнят: он оттуда, где бьются насмерть за нищенствующую сиротку-истину.

24

Увидев Кнута в кабине трактора, Филя сворачивает на поле с уже колосящимся ячменем, и на повороте дороги догоняет отца. Солнце почти ушло к горизонту, напоследок пылая в оранжево-золотом мареве, и в предвечерней тишине принимается петь дрозд, неспешно рассказывая о прожитом дне. Кивнув отцу, Филя идёт за трактором, вдыхая хлебный запах поля, точно такой же, как в России, и так ведь могло быть и там: он и отец. Три тысячи километров вовсе не пустяк для дрона, бабочке лететь и лететь... лететь над мелеющей Балтикой, над измельчавшим в своей суетливой злобе прибалтийцем, лететь назло нерушимым законам природы, дететь в сторону солнца.

На кухне беспорядок, домработница не пришла, слепому коту никто не дал варёной трески. И чтобы как-то уложиться в заведённый порядок, Кнут принимается сам делать лапскаус, терпеливо нарезая кубиками картошку, морковь и мясо. И пока варево кипит, оба листают газету, и Кнут то и дело посматривает на сына. Но вот наконец ужин, слепой кот прыгает на колени к Филе, принюхиваясь к запаху свинины. Этот кот сидел когда-то на коленях его матери..

— Сегодня я принял решение, — как бы между прочим начинает Кнут, — я выхожу из игры. Я жил по законам войны почти четверть века, война сделала меня тем, что я есть, обещая лишь своё продолжение, до упора, до самого конца, когда станет уже всё равно, победил ты или проиграл. Я вёл эту войну с самим собой, бдительно отслеживая малейшую склонность к тишине и покою, расстреливая в упор любое сомнение в необходимости того, что я делаю. И если кто-то желает продолжить эту войну, я не против, но сам я устал, мои раны кровоточат. Нельзя сказать, что я выхожу из схватки победителем, но я знаю точно: моя жизнь прогнулась перед чужой волей. И это воля не только Эльвиры или её бывшего олигарха, или даже какого-то президента: это неодолимое наваждение моего внутреннего врага... да, я начинаю ощущать его в себе!

— Тут ничего не поделаешь, — наливая себе и отцу чай, поясняет Филя, — этот враг вселяется в каждого из нас незадолго до рождения и покидает нас перед смертью, и его воля тысячекратно превышает волю любого из нас. Это чрезвычайно сообразительное, сатанинское существо вносит в наше тело всё то электричество, которое обычно приписывают нервам, и то, что мы видим на электрокардиограмме, всего лишь след присутствия в нас этого незримого гостя. Устраиваясь в нашем теле, этот наш двойник питается нашими болезнями и умеет их вызывать, и когда мы получаем какое-то лекарство, двойник доволен, хотя сама болезнь для него гораздо «вкуснее». Но человеческую смерть это сатанинское существо не может вынести, ведь за порогом смерти открывается духовный мир, незыблемо охраняемый Христом. И всякий раз, когда воля двойника пересиливает нашу волю, достаточно только подумать: «Не я, но Христос во мне». Ты когда-нибудь думал так?

— Мне было некогда, — уклончиво произносит Кнут, — я делал дроны, продавал и снова делал дроны.Но твоя мать как-то сказала, что Бог любит меня, и я подумал тогда, за что меня можно любить.

— Любовь не поддаётся оценкам, за что, как и сколько, она просто есть как вечная космическая строящая сила, как всепроникающая сила познания. Но все мы скованы смертным телом и в угоду ему отворачиваемся от изливающейся на нас божественной любви, тем самым воспринимая эту любовь как гнев: чаши гнева изливаются на нас. Ты когда-нибудь убивал другого человека?

— Я помогал это делать другим, но теперь я выхожу из большой игры. Я передаю фабрику моему сыну, пусть делает что хочет. Сам же я сяду на трактор, у меня два больших поля, на одном будет овёс, на другом ячмень, а зимой — туда, где тепло, в Португалию, Испанию...

— Твой сын завалит Украину дронами.

— Да.

Вылизывая тарелку, кот басовито урчит, такой сегодня праздник.

25

Свадьбу принцессы решили устроить в тихом дачном посёлке, заранее предупредив всех о недоступности прохода или проезда к месту сбора гостей. Не все приглашённые, впрочем, рады видеть Лауру в паре с разбогатевшим на украинской войне торгашом. Но деньги — дело хорошее, их надо делать, и делать так, чтобы поставить всех в длинную очередь за самым необходимым, тем самым расширяя границы побирающейся по всему миру, победоносной Украины. Среди приглашённых есть и принцессы, кому за девяносто, кому только двенадцать, и все они находят Шуру милым, почти уже своим, полуэлитным-полуприблудным, уверенно метящим мимо неподобающей будущему королю скромности. В том, что брак этот деловой, никто из дам не смеет даже сомневаться, едва не теряя разумение от одного лишь запаха многомиллиардного состояния торговца одноразовыми дронами. Вот победит наконец своего близкого, родного врага эта марширующая в чужих обносках Украина, переименует Киев в сити, вот тогда и посмотрим, как заживёт на два королевства принцесса Лаура. А она ведь заживёт, она такая.

Несмотря на строгий запрет приближаться к свадебной зоне, местные дачники подсматривают, кто в бинокль, кто просто так, за снующими туда-сюда рабочими, ставящими в ряд столы и гостевые палатки, развешивающими среди сосен связки разноцветных лампочек. Потом эти рабочие смахнут со столов остатки королевской жратвы, тайком выбирая себе что получше, а остальное — свиньям. И многие, у кого есть бинокль, не прочь и сами тут же мимоходом прикормиться, и кто-то уже собирается сдавать пивные банки...

Глянуть на свадебные приготовления Филя решил не сразу, что ему, чужаку, вся эта показуха. Газеты только об этом и пишут, разбавляя радостную весть долгожданным известием о теперь уже скорой победе атлантического украинца над общим для всего остального мира врагом: дроноторговец Шура собьёт врага с копыт одним только боевым кличем: «На гиляку!» И враг, само собой, отступит от всез своих границ, покладисто сжавшись в комок раскаяния и страха. Враг, общий для всего цивилизованного мира, включая ставшего на лыжи негра, враг универсальный.

Теснящиеся вдоль побережья виллы, тут же моторки и огороженные сеткой приватные пляжи с засиженными чайками волнорезами, и только вздыбившаяся вертикаль исхлёстанных ветром скал и остаётся пока незанятой, позволяя взгляду нестись следом за накренившимся нал волной парусником. Их соберётся тут немало, медлительных и шустрых, и какой-то старый, с дымящей трубой, пароходик уже нарезает волну под черным пиратским флагом.

Сидя на заросшей мохом и вереском вершине скалы, Филя высматривает вдали идущий мимо корабль, потом другой... и так проходит медленно ползущее к полудню время, и только крики чаек напоминают ему, зачем он здесь.

Это тайна для него самого, мистерия его воли.

Он думает теперь о той, что не знает даже его имени, не знает, кто он. Он думает о ней с осторожной нежностью, как о спящем в колыбели ребёнке, и ни одна его мысль не смеет коснуться её внешней, зримой, суетливой повседневности. Он думает о ней как о заброшенной в мир со звёздных высот душе, расточительно отдающей себя мимолётным пустякам, изнашивающей свою, пока ещё юношескую наивность. Он думает так, зная о её прошлой жизни, он в долгу у глухонемого горбуна, вытащившего его из подвала. И пусть теперь этот накренившийся нал волнами парусник обозначит в морской дали дерзость и стойкость его воли. Он здесь совсем один, без советчиков или помощников, он сам принимает решение: одарить своей волей другого.

Прежде чем увидеть, он уже знает: она идёт сюда. В военной форме, синем берете, в тёмных очках, она вряд ли покажется кому-то принцессой, с нетерпением ожидающей своей свадьбы. То и дело останавливаясь, она смотрит себе под ноги, будто что-то обронив, смотрит по сторонам... она не знает, куда ей нужно. Но она уже здесь. Наконец она видит сидящего на камне, спешит к нему... Поднявшись, Филя идёт ей навстречу.

26

Она не та, что была ещё вчера, и сама ещё не привыкла к этому. Она пока не выносит себя, ей самой незнакомую, её словно клонит в сон от малейших усилий связать себя, вчерашнюю принцессу Лауру, с сегодняшней

безымянной, безродной, бездомной... но ведь тоже принцессой. Как сделать ей этот шаг над пропастью?

Сев рядом с Филей на замшелый камень, она смотрит куда-то в сторону, и словно самой себе, бесстрастно рассказывает:

— Он снился мне три ночи подряд, хотя это вряд ли был сон, я была в полном сознании, словно днём. Мне снился свет, своей интенсивностью превосходящий полуденное солнце, и свет этот исходил из моего сердца, поднимаясь вместе с кровью к голове, наполняя её собой, словно чашу, излучаясь дальше, в необозримые дали. Всё мое тело, отравленное мелочным себялюбием и похотью, сделалось вдруг прозрачным как горный хрусталь, вмиг потеряв свою неподъёмную тяжесть, и никогда прежде я не испытывала такой чистой, сияющей радости: на меня смотрела сама Любовь. Смотрела со своих, недоступных глазу высот, наполняя моё светящееся сердце удивительным покоем, словно я наконец-то вернулась домой. Разве могу я теперь продолжать мои убогие эгоистические игры? Продолжать быть заводной куклой на сцене придуманного кем-то спектакля? Мне нужно понять, что произошло, что это было...

— Тебе дано было увидеть Грааль, — спокойно поясняет Филя, — указатель пути, градацию сердечной освещённости, чашу очищенного от страстей душевного тепла, в которую изливается само существо жизни. Ты одна из немногих, кому дарована эта милость, и ты — будущая королева.

— Прежде я думала, что готова стать королевой, что это вовсе не сложно, быть на виду, повторяя пустые, заученные слова. Но теперь всё рухнуло, меня словно уже нет, и я не знаю, что будет завтра...

— По крайней мере, — улыбается Филя, — в течение ближайших семи дней ты, увидевшая Грааль, не сможешь умереть.

— Да я и так не собираюсь умирать, с чего бы это... я ведь только здесь, на этом пустыре, без охраны, я просто сбежала... — она пристально на него смотрит, — Я только что сказала Шуре, что свадьбы не будет.

— Он явится сюда за тобой, он уже идёт.

— Он сидит за столом с ребятами, все они пьяны и поют слезливые украинские песни, и весь трехэтажный особняк, в который вот-вот прибудет король, отравлен присутствием свински самодовольной украинской нищеты... Я ведь раньше так не думала, заглядевшись на тучные хлебные украинские поля, почти уже мои, я хотела лишь больше того же самого. И только теперь мне становится ясно: заглядевшись на чужое, рискуешь потерять своё. Нам с Шурой следовало расстаться после первой же нашей встречи, в тихом парке для наркоманов в центре Амстердама, — она отворачивается, прислушивается, — нет, он сюда не придёт!

— Но ты станешь королевой, станешь главнокомандующим, тебе придётся воевать против своих новых сограждан, в массовом тараканьем количестве напавших на эту пока ещё богатую страну. Тебе придётся отлавливать их,

гнать в шею, убивать. Иначе этой твоей страны скоро не будет. Останется лишь ничего не значащее название, тупо коронующее собой мультикультурную мусорную свалку. Но прежде чем начать эту большую войну, тебе придётся научиться жить с исходящим из твоего сердца светом, а это труднее всякой внешней победы. Готова ли ты, Лаура?

Взяв его за руку, она молчит. Оба смотрят на бьющиеся о скалы волны, и брызги порой долетают до самой вершины, схваченные налету крепким ветром. И парящая в солнечной синеве чайка будит пронзительным криком утихшие было сомнения: как жить дальше?

— Иногда мне кажется, — ничуть не смущаясь, признаётся Лаура, — что я мужчина, загнанный в это слабое женское тело, доставшееся мне по ошибке. Да, я хочу быть мужчиной. Хочу быть королём... главнокомандующим. Может, мне следует сменить пол?

— Ни один человек не в состоянии сменить свой пол, хотя калечат себя многие. Пол каждого определяется ещё до рождения, во время прохождения духовным зародышем сферы Луны: при убывающей Луне получается мальчик, при растущей — девочка. Этот космический порядок столь же незыблем, как и сами формы человеческого тела, напечатлённые, как ты наверняка знаешь, Яхве, этим строителем «из праха». Сам же Яхве, будучи исполнителем воли Христа, не оставляет людям ни малейшей возможности самостоятельно переделывать своё физическое тело, разве что его уничтожать, и силы наследственности тоже от Яхве...

— Но почему тогда я чувствую себя мужчиной? — упрямо повторяет Лаура.

— Ты чувствуешь в себе мужество, и это хорощо, но ты — женщина. В каждом из нас есть и то и другое, ведь изначально человек — гермафродит, двуполый. Но ещё в «райское» время, в полной подчинённости Творцу, безгрешный и бездумный, двуполый Адам вынужден был исторгнуть из себя деторождающее, женское, тем самым давая возможность мужскому началу сосредоточиться на усилении умственной жизни. Ребро Адама, из которого получилась Ева, всего лишь символическое обозначение времени, когда началось отвердение уже минерализованного человеческого тела, ребра, костей. К тому же ребро охватывает среднюю часть тела, где находится сердце, и новый сердечный ритм, заданный Творцом, как раз и разделил человека на два пола. Сам же Адам — это вовсе не имя «мужчины», но первобытный тип сознания, так же как и Ева — первобытная, неукрощённая разумом душа, подпавшая соблазну эгоизма. Ведь именно душа, с её чувственной страстностью, и попадает в ловушку прекрасного Люцифера, заключающего с этой дущой космический брак. Став однополым, человек всё же несёт в себе возможность снова стать в отдалённом будущем гермафродитом, когда размножение примет иной характер, а женщины не смогут уже рожать. Сегодня мы находим у эмбриона зачаток обоих полов, своего рода почку с двумя ростками, из которых один постепенно вянет, тогда как другой укрепляется и растёт. В соответствие с женской душой развиваются женские половые органы, тогда как увядающий мужской росток

оставляет после себя неизрасходованные мужские жизненные, строящие силы, они-то и остаются в женском теле как нечто «мужское». У мужчины все наобопрот. И на страже этого эмбрионального порядка стоит Яхве. Так что изменить пол никоим образом невозможно, и само стремление к этому диктует недоумкам антихрист, крайне заинтересованный в том, чтобы внести в человеческое тело путаницу и хаос. Затаившись в недрах земли, антихрист питается гнилью однополых браков, равно как и ядом трансплантации чужих органов, а уж пробирочные эмбрионы, это для него, антихриста, изысканный деликатес...

— Всё равно мужского во мне больше, — упрямо повторяет Лаура, — оно подавляет во мне женское...

— Присутствие в женском теле мужской жизненной, строящей силы как раз и делает женщину во многом сильнее мужчины: в её стойкости, выносливости, живучести. Тогда как мужчина порой оказывается бабой. Тем не менее, определяя, кто есть кто, достаточно снять трусы... Когда-то, в самом начале земных времён, в солнечной северной Гиперборее, люди были подобны растениям, при этом их строящее, жизненно-растительное существо едва лишь касалось их прозрачного, светового тела, постепенно начиная в него погружаться. Сегодня идёт обратный процесс: растительно-жизненная составляющая человека постепенно выходит из огрубевшего, полностью минерализованного тела, возвышаясь над ним, так что мужчина может принять себя за женщину, а женщина принять себя за мужчину.

— Если и впрямь у мужика эта самая его, растительная штука женская, — вдумчиво произносит Лаура, — то мне, пожалуй, лучше оставаться принцессой, с мужским знаком отличия.

27

К вечеру небо над морем становится фиолетово-серым, и хотя до темноты ещё далеко, на востоке неспешно поднимается полная луна. Оранжево-жёлтая, она постепенно бледнеет, повисая над верхушками столетних сосен и теснящимися на берегу виллами. Она ведь тоже, луна, посылает на землю солнечный свет, отражая его своим серебряным зеркалом, хотя сама она темна и мертва, вырванная когда-то из огненных недр земли. И с каждым своим полнолунием она становится ближе и ближе, явно намереваясь вернуться обратно и шлёпнуться в океан, устроив ещё один всемирный потоп. Но пока... луна вызывает лишь восхищение, одаривая одиночество любовным томлением, тоской и беспокойством, и волк обращает к своей лунной душе одному ему понятную песнь...

— Ты ведь мне нравишься, — простодушно признаётся Лаура, — но не так, как другие, не так, как ребята в казарме, не так, как Шура, и когда ты уедешь, ты всё же останешься со мной, здесь... — она прикладывает ладонь

Фили к своему сердцу, — и это будет означать, что я не одна.

— Пусть так и будет, — спокойно отвечает он, — ведь в сердце у тебя теперь свет...

Оба прислушиваются: сюда идут. Спотыкаясь о камни и матерясь, к ним приближаются трое. Они обыскали весь берег, прошлись по дачному посёлку, и вот наконец-то видят: двое у края скалы. Теперь у Шуры нет никаких сомнений: его невесту уводит другой, уводит из-под носа накануне свадьбы. И теперь этот негодяй один против троих, и ребята, что с Шурой, вовсе не шутники. Нащупав в кармане складной нож, Шура спешит к обрыву, ещё точно не решив, стоит ли этим ножом пользоваться. По крайней мере, дать наглецу понять... а там уж ребята им займутся. Сманить невесту за день до свадьбы, когда на столах уже бумажные скатерти и одноразовые тарелки, а гостевые палатки набиты понаехавшей со всего света королевской роднёй. Но вот она сама идёт им навстречу, в своей дурацкой военной форме, словно намереваясь заслонить собой сманившего её негодяя. С ней не о чем теперь говорить, и так всё ясно. На ходу оттолкнув её, Шура готов уже пустить в ход нож... И Лаура, оступившись, срывается вниз со скалы.

Тут же спустившись на берег, Филя видит её лежащей на каменной плите, лицо её в крови, но глаза открыты. Наклонившись к ней, он ловит её взгляд, и она еле слышно произносит:

— Как твоё имя?

— Теофил, — так же тихо отвечает он.

— Теофил... — повторяет она, уносясь прочь

Шура тоже спустился, а те двое пока ждут, вот-вот появится вертолёт скорой помощи. Не решаясь подойти ближе, Шура испуганно произносит:

— Она жива?

— Она проживёт ещё семь дней, — уверенно отвечает Филя, — а может, и ещё семь дней... всё зависит от неё самой.

Рёв спускающегося вертолёта, ветер пропеллера рвёт пропитанный солью и запахом сосен вечерний воздух, и вот уже санитары, носилки... ла вот, кажется, и охрана. Снова поднявшись наверх, оба молча стоят друг против друга, и те двое, что ждали, тоже пока молчат.

— Скажешь охране, что это я её толкнул? — мрачно произносит Шура, — Но ты ведь ничего не докажешь, и ребята подтвердят.

— Она сама этого хотела, — бесстрастно отвечает Филя, — так она наконец придёт в себя...

— Не понял, — настороженно произносит Шура, — хотя бабы всегда чего-то такого хотят... А ты зря к ней клеишься, лезешь к ней в постель, сидишь тут с ней под луной, ты ей на хрен не нужен. И знаешь, почему? Потому что она голубых кровей, и ей нужен такой же, свой, к примеру, Шура Фишман, внук киевского раввина. Дошло? Но я тебя прощаю, поскольку ты, судя по всему,

обычный олух, ни ухом ни рылом не чующий разницы между собой, свиньёй, и избранной высшей породой. Будь ты даже сто раз перебежчиком из своей вонючей рашки, тебе здесь ничего не светит, тебя попросту выпрут обратно, сюда не пускают сейчас даже русских туристов, и как ты сюда пролез, надо ещё выяснить. Но! — Шура поднимает вверх тонкий указательный палец, — Тебе можно найти здесь применение, будешь клепать дроны. Мой папа отдаёт мне свою фабрику, дроны нужны теперь как никогда, ведь со дня на день мы должны победить, и это ведь не только украинская, но всеобщая европейская победа... хотя вряд ли ты это понимаешь. Как там твоя бабочка?

— Это просто игрушка, пустяк, — скромно отвечает Филя.

— Я сам видел, как она порхает над балконом, — настойчиво продолжает Шура, — такой дрон просто неуловим. Запустим первую партию, нагрузим, к примеру, химией, бациллой чумы и холеры, и пусть себе порхает в сторону Питера или Мурманска. Займёшься, браток, делом!

Услышав слово «браток», Филя молча опускает голову.

28

Поезд одолевает это расстояние в считанные минуты, проносясь мимо полей и застроенного виллами побережья, но время ускользает из отведённых ему границ, обнажая в самой своей глубине сияющую, словно раковина на солнечном дне, мысль: ты не для себя самого, ты для другого.Такая мысль чужда всякой норме, от неё веет нездешним холодом, тут же переходящим в невыносимый жар, и тому, кто её выносит, некуда больше спешить.

Ты не для себя, ты для другого.

Эта мысль о другом, неизвестном тебе или близком, делает невозможным возврат к эгоистической «жизни ради счастья», делает тебя самого чуждым стадному блеянию об известности и успехе. Мысль о другом, мысль о многих других заставляет тебя бодрствовать даже во сне, вынося на себе тяжесть безответных вопросов. Другие, может, не станут ломиться туда, куда и ты, им это вовсе не нужно, но без твоего ради них бодрствования им

некуда будет идти, разве что на кладбище. И тебе поэтому надо терпеть их неповоротливость и сонливость, их нежелание двигаться. Ведь туда, где раскрывается смысл короткой, от рождения до смерти, жизни, ты не должен приходить один, ты должен привести с собой своего брата. Ты не должен искать свою звёздную истину для себя самого, но искать её во имя другого.

Теперь-то Филе ясно: ему не уйти от близкого, теперь уже братского соседства зла. Не пытаться отвести взгляд, подменяя выстраданный сердцем поступок умным разговором об этом, принять зло в полном его объёме, сделаться его помощником, самому стать злым. Связать себя с драконом, стать на сторону зла, действовать злыми средствами, дать дракону

проглотить себя, и уже там, в утробе зла, обнаружить в себе... любовь. Он думает теперь о Шуре: это мой брат.

Пока поезд несётся навстречу светлой летней ночи, оставляя позади безответные вопросы дня, надо успеть заметить разлившееся над горизонтом золото заката, в горячем расплаве которого тонет последнее глухое сомнение: стоит ли идти дальше. А «дальше», это уже за грань внешней рутины, за грань оправдывающего её здравого смысла.

Как можно полюбить того, кто однажды отнял уже у тебя жизнь, кому достались после смерти твои неизрасходованные жизненные силы? И прежде чем полюбить своего врага, надо суметь увидеть в нём едва заметную среди мусора крупицу золота. Ведь Сын человеческий, Христос, любит грешных, тогда как Яхве их карает. Мир стоит пока на законе Яхве, не имея в себе сил сделать рывок к солнцу, этот мир лунных, наследственных, кровно—родственных сил, мир затянувшейся субботы. Яхве всего лишь отражает солнечные силы любви в виде закона, тогда как сами эти силы каждый добывает в себе сам. Или отказывается от них. Так что же, брат Шура или не брат?

Вернувшись домой уже в сумерках, Филя видит сидящего на скамейке Кнута, с ним что-то не так. Молча подсев к нему, он прислушивается к напряжённым вздохам отца, и ему самому становится вдруг душно: зло где-то рядом.

— Она приехала, она сейчас там... — Кнут кивает в сторону дома, — она хочет здесь остаться.

Сказав это, Кнут поднимается со скамейки, и уже уходя, оборачивается.

— Я сказад ей, что тут у меня живёт литовец, сезонный рабочий, так что лучше сиди в гараже, займись там чем-нибудь.

Оставив Филю одного, Кнут идёт к дому, то и дело посматривая на окна спальни, обычно пустующей, но теперь ярко освещённой: там теперь Эльвира..

Она позвонила и тут же приехала, и вместе с ней к Кнуту вернулись сомнения: всё ли в его жизни как надо? Она всегда ставит его в тупик своей уверенностью в полезности всего, что она делает, отодвигая его самого в тень, загоняя его волю в капкан бездействия. Не веря ни в какой гиноз, он становится мягким воском в её хватких руках, и это, увы, ему приятно.

Едва оказавшись в прихожей, Эльвира швыряет в кресло сумку и плащ и возмущённо произносит:

— Как ты посмел!

Кнут и раньше бывал бит её презрительным остроумием, и уже собираясь уступить ей, почему-то замешкался... он словно увидел её впервые: перезревшая, шестидесятилетняя, но чертовски стильная, с примесью той изысканной вульгарности, что как раз и отличает избранное от всего остального.

— Ты никогда не говорил, что у тебя есть сын от какой-то русской шлюхи, — уронив себя в кресло, возмущённо продолжает она, — и теперь ты отдаёшь ему этот дом вместе с землёй, даже не поставив меня в известность! Этот дом принадлежит мне и Александру, и я намерена здесь жить. Мне здесь... — она неприязненно смотрит по сторонам, — нравится, я привезла на такси мои вещи, я буду сдавать квартиру и уже подписала контракт. И теперь, когда я вернулась, я требую пересмотреть твоё глупое решение, мы с Александром этого требуем.

— Завтра придёт домработница, — равнодушно произносит Кнут, — вымоет посуду, приготовит обед, а в гараже у меня литовец, чинит машину, он скоро уедет.

— Завтра идём к адвокату, — уверенно заявляет она, собираясь уже подняться в спальню, — и скажи этому литовцу, пусть занесёт в дом мои вещи.

Выглянув за дверь, Кнут видит два больших чемодана.

29

Семь дней в больнице оказались для Лауры иным, чем телесная боль, испытанием. Ушибы и сотрясение мозга — дело случая, тогда как сон вряд ли теперь станет нормальным, каким был раньше. Оставшееся без присмотра сознания, укрытое пуховым одеялом тело становится во сне полем битвы отравляющей кровь наследственности и преодолевающей наследственность, набирающей силу душевностью. Это свежее, юное, пока ещё осторожное проявление веками подавлявшегося интереса к другому, не такому, как ты сам, эта весенняя устремлённость к свободе... В первую ночь Лауре снится древний, затерянный в космосе Сатурн. Огромный, охватывающий всю будущую солнечную систему, Сатурн не имеет ни иллюзорных «пыльных» колец, ни даже самой пыли, но состоит исключительно из одного лишь тепла и... темноты. Это тепло иное, чем жар костра или вулкана, оно ощущается лишь душой, как проявление чьей-то горячей воли. Воли, излитой близко стоящим к Творцу существом, очерчивающей контуры будущего пространства. В этом сатурническом волевом жаре возникают первые человеческие тепловые зародыши, пока еще не имеюшие в себе никакой жизни. И среди них уже имеется то, что обещает когда-нибудь стать Лаурой: её самое первое, тепловое проявление себя в мире. Этот сатурнический, безжизненный тепловой старт, этот тепловой зародыш несёт уже в себе всю свою будущую историю, вплоть до того момента, когда тепло, теперь уже душевное тепло каждого в отдельности, отдаётся обратно породившей его воле Творца. Этот древний, огромный Сатурн несёт в себе будущее солнце и остальные планеты, вместе с теми силами препятствий, которые, будучи здыми, ведут в конце концов к добру. Уже тогда, в самом начале времён, творящая воля позаботилась о вечном неравенстве между одним и другим,

как раз и обеспечивающим возможность развития. Ведь прежде чем что-то двинется вперёд, ему должно чего-то не хватать, должно что-то огорчать и мешать, восхищать и увлекать за собой. Только так, продираясь через страдания, и можно сделать самостоятельный выбор, и страдать придётся очень долго.

Тёмный, горячий, безжизненный Сатурн, созданный из ничего волей Христа.

В эту первую, сатурническую ночь, Лаура переживает своё двадцатитрехлетнее тело стареющим, склонным к болезням, постепенно умирающим. И в это, заранее обречённое на разрушение и смерть тело вступила в миг зачатия её душа! Вступила на путь умирания. Но зачем? Природа не отвечает на этот вопрос, будучи сама смертной. В природе нет ничего, что говорило бы тебе о тебе самом.

Вторая ночь вспыхивает для Лауры родившимся из темноты солнцем. Всё, что до этого было безжизненным в сатурнической тьме, получает возможность жить, стать дышащим растением, и воздух — сгустившаяся до газа теплота — становится светом. И если к жаркой тьме Сатурна примешивался космический холод отрицания этой, самой первой, тепловой телесности, то в солнечную световую жизненность впивается отрицание света и самой этой жизни, и это первая весть о Сатане как духе тьмы и князе посюстороннего, зримого мира, весть о будущей демонической, мёртвой культуре механического рассудка. Сатана был допущен в солнечный мир Христа, допущен в виде закваски будущих противоречий, без которых не может развиться стремление к свободе.

Третья ночь уносит Лауру в лунное великолепие одаренной душой жизни. И это ведь остатки прежней лунности скрываются сегодня в глубинах океана, со всей своей красочностью и бесконечным разнообразием мудро организованных форм. В этом лунном космосе мудрости и красоты животноподобный человек встречает мятежного Люцифера, и дальше они идут уже вместе. Люцифер долго стоял рядом с Христом, долго был Его солнечным братом, и весь имеющийся в мире свет исходит от короны Светоносца. Драгоценный камень из этой светоносной короны, насквозь пропитанный жизнью и потому сам живой, пронизанный ничем не замутнённой, райской душевностью, упал на землю и стал камнем Грааля. Что без мудрости душа?.. что мудрость без души? Люцифер вовсе не враг людям, но великий соблазнитель, увлекающий своей возвышенной красотой каждого, в ком есть тоска по истине, в неземные дали, разлучая со смыслом земной жизни. Но это ведь только на какое-то время, пока люди не наберутся ума, а дальше уже — светоносное, люциферическое предвестие Христа.

Четвёртой ночью Лаура оказывается у себя дома, в королевском замке, под строгим присмотром неустанно следящих за ней слуг-учителей. Эти слуги, рабы рассудочного, статистического порядка, усердно внушают ей, принцессе, что она произошла от обезьяны. Они, правда, и сами не знают, почему обезьяны прекратили делаться людьми, а тем более, такими, как эти учителя, умными. Но верить в то, что в какой-то момент у твоего предка

отпал хвост и он поэтому перестал бегать на четвереньках, верить в это полагается свято, как в честность банкира. Ещё будучи наивной дурочкой, Лаура как-то спросила, от кого произошла обезьяна. Вопрос этот так напугал учителя, что он забыл даже поставить Лауре двойку, и только теперь, в своём больничном сне, она наконец-то понимает: обезьяна произошла от человека. Всё то ненужное, что человек вынужден был примерить к себе в ходе своего взросления и роста, всё это отбрасывалось, и дабы не пропадать добру, доставалось братьям меньшим, от мамонта до червяка. И хотя учителя Лауры умели читать и писать, никто из них не рискнул признать, что ложь давно уже гуляет по миру в безупречно белых одеждах правды, зазывая на свой воровской праздник кого попало, от пьяной рыночной торговки до президента. Учитель не допустит, чтобы его жертва думала иначе, чем он сам, думала, к примеру, что никаких газовых камер у Гитлера не было, и стало быть, нечем было дущить раздетых догола, с банными вениками подмышкой, грязных евреев. И когда Лаура призналась учителю, что собирается отдать музей холокоста под виллу Квислинга, учитель едва не покончил с собой, так и не решив, доносить или не доносить... и все-таки донёс на Лауру дедушке. Учителей на земле гораздо больше, чем желающих чему-то научиться. Вот ведь уже две тысячи с лишним лет с землёю связан Христос, но никто почему-то этого не замечает, роясь вместе с червями в комфортабельных братских могилах. Ни до кого не доходит, что ниже пасть уже нельзя, ниже уже ад, и исход теперь только один: вверх, к своей обновлённой, воскресшей телесности. Земля — место разворота, середина пути, краеугольный камень свободного выбора.

Но вот и пятая ночь, сияющая уже из будущего, ночь Юпитера. Ночь Страшного суда. Что не успело на земле хоть как-то служить добру, становится теперь отбросом, вычеркивается из проекта Творца, оседает на мель отравленной эгоизмом животности. В природе нет уже прежней земной тверди, всё стало текучим, растительно изменчивым, и всякая высказанная мысль тут же улетает прочь птицей, оставляя за собой сияющий след. Мысль становится живой, действующей вовне силой, и её сияющая магия превосходит липнущие к прошлому остатки группового эгоизма, копошащиеся теперь в низинах механического рассудка. Кровно-родственное земное прошлое теряет свой последний шанс: женщины больше не рожают, и сама детородность перемещается снизу наверх, к гортани, к этому органу Слова. Теперь только пронизанная волей мысль и может притянуть к себе новую жизнь, и Юпитер сияет ярче солнца от этих деяний любви. Эта пропитанная мудростью любовь теперь в каждом, она строит свой космос любви, она — то, что вошло при крещении в Иордане в тело Иисуса. Она делает каждого братом Христа.

Шестая ночь едва не становится для Лауры кошмаром: она видит гибель всего, что так и не пожелало покинуть полуживотную черномагическую трясину. Ночь таинственной голубой Венеры. Ночь исполнения проговора Страшного суда. Теперь-то Лаура знает, что приговор этот выносит себе каждый в отдельности, попросту отворачиваясь от обращённой к нему любви

Творца, и сам этот Страшный суд — всего лишь трусливое уползание от света в отравленную ненавистью тень. Теперь уже навсегда... навсегда! Теперь уже нет никакой возможности что-то исправить, и то, что так долго покровительствовало злу — затаившийся в недрах планеты антихрист — не имеет больше никакой силы, запутавщись в своих же ядовитых сетях. Антихрист оставляет наконец свою последнюю надежду навредить плану Творца, оказавшись попросту выброшенным из человеческого мира. И это, конечно, катастрофа, равной которой нет, катастрофа расставания со злом. Теперь уже как брат Христа, каждый проникнут другим, а все вместе — набирающим силу светом нового солнца. И только теперь, в очищенном от зла состоянии Венеры, животные оставляют человека, вступая на свой собственный космический путь: их животные групповые души — волчьи, львиные, орлиные — устремляются к своей будущей человечности, в ином месте, в иное время. И Лаура думает о своём королевском пуделе: какой ещё из него получится человек... И то, что уходит навсегда, не выдержав испытаний любовью и свободой, проглатывается новой, ещё не определившейся космической возможностью.

Седьмая ночь уносит Лауру так далеко, что никакие обращённые в слова мысли уже не достигают её переживаний: её собственная телесность обращена теперь в живое душевное тепло. И все остальные, кто прошёл вместе с ней долгий космический путь взросления, соединяют своё тепловое существо в единый прозрачный кристалл соли, в котором вспыхивает новое солнце, рассыпаясь созвездиями нового зодиака.

Оказавшись вновь под больничным одеялом, рядом со стоящей наготове капельницей, Лаура нащупывает под подушкой телефон, звонит самой себе... да она ли это? В телефоне портрет её пуделя, и это наводит её на мысль об обязанностях принцессы, о строгом рабочем графике... «Но как я смогу теперь быть принцессой?» — мысленно спрашивает она у собаки.

30

Слепой кот чует приход домработницы заранее, сладко потягиваясь в своём плюшевом гнезде: сейчас будет варёная треска. И хотя в доме появился чужой запах, кот по-прежнему уверен в своих законных кошачьих правах, ведь даже будучи слепым и оскоплённым, он все же хищник. И вот наконец она, заменяющая коту хозяйку, шлёпающая разношенными тапками по ковру, с буханкой теплого хлеба п двумя пакетами молока. Уверенно шагнув на кухню, она прислушивается: там, наверху... должно быть у Кнута гости. К нему редко кто заходит, а тем более, дамы, тем более, в спальню. Выйдя в коридор и став возле лестницы, она подслушивает, и кот вслепую тащится за ней, разделяя её любопытство.

Там, наверху, Кнуту, похоже, плохо, иначе стал бы он так топать, мотаясь туда-сюда по тесному, над лестницей, проходу. И та, что теперь там с ним,

тоже не стоит на месте, настигая его то возле спальни, то в ванной. Тут даже слепому коту ясно: кого-то вот-вот спустят с лестницы. И хотя кофе уже готов, а свежий хлеб намазан маслом и обложен сыром, домработница не решается пока звать хозяина, ей надо узнать сначала, чем закончится этот утренний бардак.

— Этот твой сын, бастард от русской шлюхи, воюет теперь против Украины, — наступает на Кнута гостья, — а ты в это время отписываешь ему принадлежащий мне дом! Ты в своём уме?

«Это же теперь твоя хозяйка, — мысленно докладывает домработница коту, — сам черт принёс её сюда в такое время!» Но коту ведь и так ясно: теперь вместо трески — дерьмо из консервной банки, а ящик с песком — во дворе. И это после двадцвати с лишним лет честной кошачьей службы.

— Мы слишком разбогатели на этой войне, — удручённо произносит Кнут, — стали нечувствительны к чужим невзгодам...

— Да брось ты ныть, — перебивает его она, — твоя фабрика процветает, а сам ты такой же олух, каким всегда и был, и если бы не я...

— Если бы не ты... да, тут в самом деле всё твоё! И моя жизнь, она ведь тоже твоя, и мне самому осталось совсем чуть-чуть... Но я намерен из этого «чуть-чуть» сделать кое-что. Я намерен закрыть фабрику, продать всё к чёрту, вы с Александром получите большую часть, я же стану врестьянином, сяду на трактор.

— Ты не имеешь права так просто сдаваться! Украине нужны твои дроны как никогда!

— Я уже решил... только что. Я был, признаюсь, жаден и глуп, ввязавшись в украиский грабёж, стоящий жизни сотням тысяч таких же, как я, глупцов. Я не отговаривал Александра скупать заброшенные украинские поля, перепродавать землю, становиться миллиардером, но теперь-то я знаю, что всё это напрасно, всё скоро отнимут, и никакой Украины скоро не будет.

— Твой русский бастард сводит тебя с ума, — сердито заключает она, — ты и раньше был трусом, а теперь становишься бабой. Войну необходимо продолжать до полной победы, война — это наше богатство, и я уже присматриваю третий по счёту дом во Львове, в самом центре, с антикварвной мебелью, картинами, бронзовой люстрой семнадцатого века...

— Львов тоже отберут, — угрюмо произносит Кнут, — мы все облажались, облапошенные хитростью задающих тон негодяев. И дело не в том, что войну мы обязательно проиграем, дело в нас самих, повёрнутых от жизни к смерти. Но я, как видишь, выхожу из игры.

— С этим мы разберёмся, — решительно произносит она, — и твой бастард наверняка уже расклёван воронами в украинской степи, а жильё этой русской шлюхи снесено напрочь дальнобойным украинским дроном!

«Придётся нам с тобой привыкать, — мысленно сообщает домработница коту,

— мне никаких выходных, тебе никакой трески».

31

После обеда — лосось со сметаной и салатом — Эльвира идёт осматривать двор. Видно, что мужик живёт один: ни одного цветочного горшка, везде только машины. Сегодня каждый чувствует себя уверенно лишь тогда, когде есть на чём ехать, и неважно, куда. Должно быть Кнут мотается на фабрику каждый раз на новой машине, давая понять своим муравьям, что вот оно, честно заработанное счастье. Да хоть бы даже и нечестно, муравью такое не по карману.

Заглянув в стоящую особняком сауну — чугунная печка, дрова, кадка с водой — Эльвира направляется в гараж, прислушиваясь к занудному визгу электропилы. Там что ли этот литовец? Перешагнув через брошенный на землю засаленный комбинезон, Эльвира заходит в гараж. Сколько тут всего! Машины, лодки, щкафы с инструментами, и всё это просто так, от скуки, и если всё это продать... Длинный рабочий стол у стены, разобранная на запчасти электроника, дымящий канифолью паяльник. Должно быть чувак спёр где-то компьютер, теперь переделывает, он же литовец... Что литовец, что поляк, одно: тащут все, что можно унести, будь то даже унитаз или ванна. Если бы не эта их национальная жадность, они до сих пор сидели бы в совке, где всем им жилось куда лучше, чем теперь, в очнувшейся от советского изобилия Литве. Оно ведь и укр сегодня жаден, и хочется ему, укру, чего-нибудь европейского, хотя бы чашечку бесплатного растворимого кофе...

— Эй, ты, — окликает она склонившуюся над развороченной электроников белокурую голову, — давно ты тут?

Повернувшись к ней, Филя сдвигает со лба хирургический фонарик и на плохом английском — ему самому приходится это терпеть — объясняет, что не помнит уже и сам, когда сюда прибыл. В Литве становится скучно, хотя раньше были хоровые фестивали на весь стадион, был сбежавший из «Соляриса» великий актёр, был пишущий картины и сочиняющий фуги шизофреник.. а теперь только война, да и та не своя.

— Теперь вот думаю повоевать, — лениво поясняет он, — сейчас ведь только на войне и заработаешь, а русские платят сносно.

— Воевать на стороне москалей? — возмущённо произносит Эльвира, — Против Европы?

— Мне всё равно, на чьей стороне, — так же лениво отвечает он, — лишь бы платили.

— Значит, ты уже... с ними?

— Вот именно, в группе «Север», буду сапёром, а убьют — ничего страшного,

меня никто дома не ждёт.

Теперь уже с интересом на него глянув, Эльвира думает... и нужная мысль, опережая все остальные, тут же ввинчивается в её беспокойно деловое воображение: этот литовец — настоящий клад.

— Зовут тебя как? — достав из сумочки блокнот, деловито спрашивает она, подойдя чуть поближе.

— Миколаюс Константинас, — вяло произносит он, — Чюрлёнис... Слыхала небось обо мне?

— Кто ты такой, чтобы я о тебе что-то знала, — бесцеремонно обрывеет его она, — Но теперь ты мне нужен... — она записывает в блокнот, — Чюрлёнис... Вот что, Чюрлёнис, в этой твоей группе «Север» служит сейчас один очень гадкий тип, зовут Теофил, проходимец, мошенник, вор и массовый убийца, и если шальная пуля случайно его заденет, ты сможешь получить десять тысяч гривен, наш человек с тобой свяжется.

— Пятнадцать тысяч, — невозмутимо произносит он.

— Вот она, литовская жадность, — удовлетворённо усмехается Эльвира, — получишь двадцать, когда отработаешь.

Опустив хирургический фонарик почти на глаза, Филя продолжает копаться в компьютере, и сладкий запах канифоли тянется за Эльвирой до самых ворот.

32

Вернувшись в дом, она застаёт Кнута на кухне, на высоком вертящемся стуле, с котом на коленях. Глянув на неё исподлобья, Кнут молча подвигается, высвобождая ей место рядом. Они давно уже не сидели за столом вместе, и теперь это становится очевидно: никому из них это не нужно. Но жизнь ведь ещё продолжается, какая бы она ни была, к ней всё ещё надо притираться...

— Что такой кислый? — не глядя на него, безразлично произносит Эльвира, — Жаль отдавать дом этому русскому бастарду? Да он его так и так не получит, русским запретили иметь в этой стране недвижимость, а ты и не знал.

— Мне жаль, что всё проходит, — не слушая её, печально произносит Кнут, — а ведь не всё в жизни было плохо, далеко не всё... — он наливает себе кофе, — были прекрасные мгновенья любви, и казалось, что это навсегда...

— Кончай ныть, — перебивает его Эльвира, — лучше подай мне сливки, кофе совсем как в Киеве, бурда.

— Потом ведь будет уже поздно что-то исправить, — продолжает он, — после смерти... потом будут одни лишь сожаления, наверняка невыносимо мучительные. Мы все обречены на эти муки, ведь всё, что нас окружает, подлежит разрушению, ведь плакал же Христос, царственно входя в

Иерусалим, плакал о гибели этого города.

— Ты думаешь о всякой чепухе, лучше перепиши завещание, пока ты ещё жив, иначе что о тебе могут подумать другие, что подумает король, премьер-министр...

— Король? — словно очнувшись, раздражённо протизносит он, — Мне ровным счетом плевать на это выродившееся семейство, я в них нисколько не нуждаюсь. И даже если Александр сойдётся с принцессой, меня это не касается, я сам по себе, я так решил...

— Давно ты это решил? У нас же общий счёт в киевском банке!

— Киев обречён, как и наши с тобой деньги, ничего больше не будет...Ты готова к этому? Если нет, тогда нам следует расстаться уже сейчас, сегодня, — он смотрит на неё в упор, — Я выхожу из игры.

— А я, представь себе, нет, — так же в упор на него глядя, огрызается она, — я заберу у тебя всё, что ты нажил с моей помощью, и сам ты никому уже не нужен, старый, бедный, никчёмный.

Ссадив на пол кота, Кнут молча встаёт из-за стола. Он давно уже готовил себя к этому: вырваться на свободу. Или это всего лишь одиночество, теперь уже безысходное?

33

Явившись в назначенный день на фабрику, Филя садится за рабочий стол рядом с муравьём, наблюдая, как тот впаивает в готовый дрон электронные «мозги». Умный дрон — это не только кошмар для врага, это ещё и новая норма жизни: пока ты спишь, на тебя идёт охота. Дроны влетают в окна, проламывают стены, гоняют по улицам зазевавшихся старух, жгут на ходу маршрутки... без дрона теперь никуда. И самый лучший из дронов дрон тот, в который вовремя впихнули самодельный... ну что ли интеллект, делающий дрон куда интеллигентнее своего владельца. Даже у кошек и собак, не говоря уже о всякой рогатоой скотине, интеллекта ровно столько, сколько умещается в инстинкте, тогда как самодельный, он же цифровой интеллект перехлёстывает своей «дважды два четыре» логикой всякое школьное воображение. Это как раз тот клинический случай, когда всё гениальное — просто. А что тут мудрить? Из мёртвого никогда не получится живое. Сколько бы кустарные соображения специалистов ни упирались в рабочую формулу происхождения жизни из какого-то там мутного белка, который ведь сам из чего-то произошёл, и не просто так, но под чьим-то пристальным надзором. Может, это гармонии планетных сфер, согласовав своё звучание с планами Творца, спровоцировали космический танец оседающих на землю минеральных субствнций? Может, это сама жизнь, которой Творец предусмотрительно одарил своё творение задолго до земных времён, и соткала себе радужный кокон из переливающейся всеми цветами и оттенками

атмосферы?

Но нет, самодельный интеллект вовсе не склонен придавать какое-то значение давно уже изъятой Фрейдом из употребления душевности: рассужлать следует ничем иным как голым, сухим, мертвенно бледным рассудком. И если навстречу тебе летит дрон, знай: это и есть твой счастливый конец, и дальше уже ничего не будет. Дальше — бездушная арифметика отпавших от жизни чисел.

Дрон, несомненно, выиграет эту затянувшуюся украинскую войну. Всё же остальное, о чём никто уже не заботится, незримо составляющее суть каждого, эту войну проиграет, так и не собравшись... ну что ли с духом..Так и не дознавшись, что впликая победа дрона — всего лишь сиюминутная забава антихриста, его гениальная глупость.

— С бабочкой будут проблемы, — сообщает муравей Филе, — другие тоже захотят её иметь.... Это ведь не только одноразовая летучка, это иной принци полёта, новый солнечный принцип...

— Никто ничего не узнает, — уверенно отвечает Филя, — мы сделаем пока только одну, для себя...

— А мне она зачем? Мне и так хорошо платят. Но другие, кому не всё равно, кто принюхивается к новому ради своего гешефта, обязательно найдутся, они отнимут у тебя твою бабочку. Хотя вряд ли поймут, в чём тут дело, я ведь и сам не понимаю...

— Но ты ведь и не хочешь это понять, противишься этому как только можешь, не желая покидать согретый бытовой рассудительностью здравый смысл, эту мелкую, безопасную лужу, в которой отражается твой страх перед неизвестным. Лучший из всех муравьёв, ты думаешь только о мёртвом, об этой демонической технике, теснящей живое, душевное в тёмный угол неохотно просыпающегося сознания. А тут вдруг какой-то закоулок сознания ярко освещается на миг, всего лишь на миг, освещается твоим удивлением: как такое может быть? Но ты спешишь поскорее прочь, без оглядки, страшась уличить самого себя в признании реальности незримого, правящего зримым...

— Мне надо работать, — сухо перебивает его муравей, беря отвёртку, — к чему все эти рассуждения, если за это не платят?

— За это в самом деле не платят, — охотно соглашается Филя, — не выдают нобелевку, и каждый решает для себя, достаточно ли ему только сиюминутно зримого. Гусеница выпрядает из себя шёлковую нить, свивает кокон, двигаясь по ходу солнечных лучей, растворяет своё тело в куколке, чтобы из этого хаоса вылепить безупречное тело бабочки. И кто всем этим руководит? Дарвин?

— Мне это не интересно, — теперь уже раздражённо произносит муравей, — не нужно. Возьми лучше паяльник, работы полно!

Оба видят: сюда идёт Шура.

34

Этот цех только для мелких дронов, той самой мошкары, что роится ночью в приграничном небе пока ещё русских городов, жужжа о скорой украинской победе. У этих кусачих москитов один недостаток: от них можно отбиться. А надо, чтобы летучка била наверняка, благополучно долетая туда и возвращаясь обратно. Но даже цифровой, самодельный интеллект не уберегает жужжащую бестию от охотничьей пули, и окончательная победа над москалём поэтому откладывается. Куда лучше дело обстоит с громоздкими, пузатыми баллонами дальнобойных дронов, летящими всегда в один конец. Их клепают в соседнем цехе, просторном полуподвале, где раньше был овечий хлев. И бывшее пастбище, что рядом, подходит как раз для пробного запуска трёхколёсных баллонов.

Окружённый с трёх сторон лесом, этот овечий полигон выглядит вполне приятным местом, с каменными островками, весной зарастающими ландышами, с цветущим среди лета разнотравьем, среди которого жёлтое и синее заглушает все остальные цвета. Эти цвета украинского флага, как ими теперь не залюбоваться! Природа явно в замешательстве: как эти расхожие цвета — лютик и василёк — могли угодить сразу на два флага, внося в географию националистический хаос. К жёлто-синему шведскому давно уже прилипла шестиконечная звезда, обеспечившая беспрепятственный заброс долларов в стокгольмский банк, на предмет нужды в них Лео Троцкого, приехавшего из Нью-Йорка отстранять от работы последнего русского царя. Жёлто-синий же украинский, тоже пропаренный долларами, рогатится на мир взятым взаймы у козлоногого Бафомета трезубцем, и если товарищу Троцкому удался украинский голодомор, то сегодня этого уже недостаточно: голодающих, а тем более, живых на Украине быть не должно.

— Видишь этих красавцев? — указывает Шура на выстроившиеся в ряд пузатые снаряды, — Я поставил на каждом свой автограф, пусть москали узнают, от кого им прилетел подарок. Хочешь, поставь и ты свой, ты же теперь наш. Как тебя, кстати, зовут? — он пристально смотрит на Филю, — Кто ты такой на самом деле?

Поймав взгляд телохранителя Шуры, который всегда при нём, Филя берёт первый попавшийся камень, их тут полно. Камень — штука опасная, и не потому, что это оружие пролетариата, но в силу своей твердокаменной памяти: сколько им было пробито затылков и лбов. Телохранитель тоже об этом знает и заранее прячется за спину Шуры, хотя спина у того не шире стандартного надгробья, но камень, увы, метит обе головы тут же вздувающейся шишкой. Оба не в курсе, что надо теперь делать, им такое показывали только по телевизору, и оставленный камнем на лбу фонарь освещает дальнейший ход драки: оба почти уже при смерти. Впрочем, это им только кажется, обоим охота, как никогда, жить, даже и без всякой над

москалём победы. В руке у Фили отнятый в неравном бою пистолет, он тычет им в висок Шуры, хотя тот и так лежит неподвижно. И чтобы всем троим было о чём вспомнить, Филя непринуждённо, держа Шуру за ворот рубашки, спрашивает:

— Как именно вы собирались меня грохнуть?

— Мы собирались... — испуганно мямлит Шура, — собирались дать тебе запустить неисправный дрон, башку тут же бы снесло. Но ты оказался хитрее нас, ты, москаль, и давай поскорее кончай нас, не тяни... — Шура глубоко напоследок вздыхает.

Внезапно его отпустив, Филя встаёт и идёт прочь. Пистолет можно припрятать в гараже. И вслед ему Шура кричит:

— Но почему ты меня не убил?

На мигзамерев на месте, Филя идёт обратно, пистолет у него заряжен. Идёт неспеша, словно что-то обдумывая. А Шура стоит и ждёт, узкоплечий и долговязый, с перепачканным землёй, по-женски миловидным лицом. И словно выдавая великую тайну, Филя едва слышно произносит:

— Потому что ты мой брат.

Он стоит, опустив голову, с заряженным пистолетом, он выдал себя, нарушил запрет отца. Он перестал быть шпионом и невидимкой, он весь теперь тут, в ожидании ответа. Но никакого ответа нет. Есть только гнев, злоба, презрение.

— Какой я тебе, к чёрту, брат?

— Ты уже однажды убил меня, — так же тихо продолжает Филя, — в нашей с тобой прошлой жизни, и твоя дьявольская мудрость истощила тебя настолько, что от тебя остался после смерти лишь ни на что не годный шлак, но ты получил неизрасходованные мной при жизни силы, чтобы вернуться к новой, теперь уже этой жизни, и поскольку ты никогда не искал любви, твоим первым пристанищем на земле оказалась лабораторная пробирка. И как пробирочный продукт, ты пригоден лишь к тому, чтобы стремиться к комфорту, разрушая другие жизни. Но жизнь ведь ещё не кончена, у тебя ещё есть время. Если я убью тебя, ты не найдёшь для себя после смерти ничего интересного там, за порогом, ты будешь там чужим, лишним, ты долго не пробудешь там и снова окажешься на земле, такой же никчёмный. Ведь только здесь, на земле, а не на небе, и можно что-то исправить...

— Заткнись, — с неприязнью произносит Шура, — я ничего тебе не должен...

— Ты должен не мне, но истине, должен понять, кто ты такой.

Пришедший в себя телохранитель кое-как встаёт, он же на боевом задании, и невнятно бормочет:

— Так будем запускать дрон?

Не услышав ответа, он валится обратно в траву.

35

Вернувшись в пустую, без Эльвиры, квартиру, Шура опускает в гостиной чёрные пластиковые шторы, ложится, не раздеваясь, на кожаный диван. Это новое обстоятельство в его жизни, откуда-то взявшийся брат, вывернуло наизнанку его счастливые замыслы, и оказалось, что там — пустота. Земельный миллиардер, почти уже член королевской семьи, он видит себя нищим, едва набирающим себе на пропитание, и нет такой в его жизни опоры, на которой он мог бы строить сам, добывая ресурсы из самого себя. В мёртвой оболочке рассудка, его переживания наполнены неуверенностью и страхом, словно он сам не свой. И этот его, неизвестно откуда взявшийся брат словно угадывает в нём потаённую слабость, неспособность родить что-то из самого себя. И если раньше можно было просто запереть дверь, выставляя наружу цепкий, сторожевой рассудок, то теперь эта дверь сорвана с петель, и вовнутрь хлынул невыносимо яркий свет, обнаруживая там лишь пыль и паутину. Много ли стоит победа над соседом и даже целым миром, если сам ты живёшь в страхе перед самим собой.

Уныло пищит телефон, на экране вспыхивает всего несколько слов: «Какого черта ты где-то шляешься? Я уже дома». Это Лаура, ей нечем заняться. Вызвать такси, по дороге купить букет роз. Соскользнув с дивана, Шура поднимает чёрные шторы, он снова готов к счастливому бегу за такой уже близкой, податливой, уступчивой удачей.

В шортах и босиком, Лаура наводит порядок в спальне, бросая в мусорный мешок что попало: пижаму, мокрое полотенце, подаренную кем-то вазу... Вывалив в мешок целый ящик постельных игрушек, она медлит с Фритьофом Нансеном... но нет, бросает и это, ей уже не нужное. Её нисколько не стесняет присутствие Шуры, словно к нему это не имеет никакого отношения. И ещё толком не уяснив, в чём дело, он ловит её взгляд, скользящий мимо него, куда-то в сторону. Словно высматривая что-то вдали, Лаура замирает вдруг с охапкой ненужных вещей, и на её бледном после больницы лице появляется слабый румянец. «Она попросту влюблена, — с негодованием думает Шура, — и это наверняка он... брат!»

Закончив разгром спальни, Лаура замечает наконец сидящего на кривоногом рококо Шуру, непринуждённо кивает ему. Ей ведь ничего не стоит, лёжа с одним, болтать по телефону с другим, она как-никак принцесса. Но на этот раз с ней явно что-то стряслось... ну да, у неё сотрясение мозга. Помнит ли она, кто столкнул её с обрыва?

— Мне придётся продолжить моё образование в Йельском университете, — как ни в чем не бывало, сообщает Лаура, — король настаивает на этом, хотя мне куда интересней с ребятами в казарме...

Так вот оно что, она уезжает в Америку... это всё же лучше, чем видеть её

здесь с этим, чёрт бы его побрал, братом. Америка — неувядающая мечта Европы, её великий соблазн, и в целом — похоронное бюро так и не состоявшегося европейского возмужания. Тот, кто не хочет в Америку, явно недоумок и уже скоро будет об этом жалеть, наблюдая агонию тонущей в миграционной клоаке, транссексуальной Европы. Америка — это не только две с половиной мировые войны, это ещё и жёсткий прогноз на завтра, которого, скорее всего, не будет. Зря что ли солнце закатывается именно там, в индейских резервациях.

— … но я не склонна на этот раз угождать дедушке, — так же непринуждённо продолжает Лаура, — я остаюсь в казарме, хочу дослужиться до генерала, мне идёт военная форма. Что скажешь?

— Что тут сказать... — разочарованно произносит Шура, — Йельский университет — самое крутое из подобных заведений, почти синагога, туда не берут кого попало.

— Знаю, все будущие короли и президенты проходят через Йель, там их накачивают правильными о жизни представлениями, без которых, как ты знаешь, не начинается ни одна война... — она вызывающе усмехается, — но я ведь и так главнокомандующий, и это мне решать, куда двинуть нашу нефтяную валюту.

— Никто тебе этого не позволит, ты пленница своего высокого положениея, а также своего происхождения... — он пытливо на неё смотрит, — ты всего лишь звено в глобальной круговой поруке, и только в глазах недоумков ты что-то значишь.

— Посмотрим, — сдержанно отвечает Лаура, — я ведь, ты знаешь, солдат.

— Ты вообще-то здорова? — неуверенно произносит он, — Голова не болит?

— Со мной всё в порядке, — живо отвечает она, — и даже более того... — она понижает голос до шепота, — я видела Его...

Ну вот, наконец-то призналась: всё дело в этом русском проходимце, хитро выманившим у Кнута дом и землю. Должно быть этот наглец пробрался в больничную палату, пока принцесса кайфовала под капельницей, может даже прихватил с собой пару банок пива...

— … Христа, — еле слышно произносит Лаура, — всего только миг, но я будто родилась снова, или что-то новое родилось во мне. То, что не подлежит ни смерти, ни рождению, являясь моей истинной сутью, парящей над всеми моими прежними и будущими жизнями...

С сочувствием на неё глядя, Шура молчит, тут ничего уже не поделаешь, мозг основательно сотрясён. Тем не миенее, Лаура принцесса, и никакая дурь не помешает ей стать королевой.

— … и теперь мне предстоит невозможное, — решительно заключает она, — укоренить на земле эту тайную потребность каждого в прикосновении к Нему, разбить оковы старого закона, ставящего вешь выше души...

— Люди всего лишь глиняные горшки, в которые Яхве вложил свой нерушимый закон: больше того же самого, — позволяет себе усмехнуться Шура, — так что в нашем иудаизированном мире тебя попросту не поймут, зато для психиатра ты просто находка.

— Яхве сделал свое дело, порученное ему Христом, и теперь отдыхает на Луне, по-прежнему заботясь о наследственности и вечном повторении одного и того же. Он ведь не только бог евреев, да и то лишь на какое-то время, но бог земной материальности, законов природы, и если довериться только Яхве — а мы только это и делаем — развитие уходит в ступор, в твердокаменную лунную бесплодность. И первым моим королевским распоряжением будет закрытие синагог и запрет на любую пропаганду иудаизма как крайне вредного для жизни умонастроения. Что же касается остальных недоношенных религий, то всё это постепенно сойдёт на нет, освещаемое сознательно усвоенными христианскими истинами. И конечно же, никаких гомосексуальных венчаний в наших церквях больше не будет, когда каждому станет ясно, в чём истинная причина всех этих смехотворных «девиаций». Я наведу наконец в королевстве порядок!

«Она совсем рехнулась, — теперь уже с тревогой думает Шура, — зря я тогда её толкнул...» Теперь не поможет ни строящийся под Киевом английский замок, ни конный завод, ни даже Фритьоф Нансен... эх, принцесса!

36

Шура скрывает это даже от матери: у него что-то не так с кровью. Чего-то в ней не хватает, а чего-то слишком много. Но продавать дроны можно и так, хотя врач выдумывает уже подходящее для смертельной болезни название. Врачи учат латынь, чтобы морочить пациенту голову, выдавая симптомы за суть самой болезни. Врач вовсе не лечит, но делает пациента трудоспособным, загоняя болезнь вовнутрь, в самый её корень, заглушая её рост той или иной отравой, так что любое выздоровление — всего лишь отсрочка, требующая всё новых и новых порций яда. В этой химической войне против самого себя каждый надеется на... физическое бессмертие, не желая расставаться с никуда уже не годной телесной материей. Каждый страшится наткнуться в конце концов на свою тощую, вялую, ленивую сушность. И врач продлевает, как может, этот жалкий самообман, имея в запасе ещё и комфортно обставленную автаназию.

Решив к врачам больше не ходить — а то ещё раскормят клопомором и сдерут напоследок скальп — Шура намерен спросить напрямик у своего приблудного брата, у этого русского Теофила, как обойти смертный, из-за какой-то ерунды, приговор. И неважно, что он ответит, главное — уловить интонацию, поймать беглый взгляд... ведь русскому это в кайф, поздравить другого с досрочным окончанием жизни.

В гараже воркуют под стропилами голуби, зазывая к себе под крышу блуждающих без дела ангелов, и единственная над верстаком лампа расцвечивает зелёным и синим прозрачные крылья почти уже готовой к полёту бабочки. Этот гараж, сад и дом, нетронутый лес и поля, всё это уплывает теперь в руки хитрого москаля, сумевшего пробраться в эту, принимающую лишь негров страну. И чтобы не выдать своего стойкого к брату недоверия, Шура сообщает хорошую о прнцессе Лауре новость: мозг, хоть и сотрясён, всё ещё полон ребяческих глупостей, вроде того, чтобы навести в спальне порядок.

— Короче, у меня что-то с кровью, — вроде бы даже равнодушно сообщает Щура, — ты в этом хоть что-то соображаешь? Ты вроде бы медик...

— В крови действует высшее существо каждого из нас, — спокойно глядя на Шуру, охотно поясняет Филя, — то самое «Я»,что не подвержено ни рождению, ни смерти, и действует оно по-разному. Подчиняя себе более низкое, душевное, и ещё более низкое, физически телесное, «Я» либо укрепляет порядок в теле, либо нарушает его. И поскольку сейчас в каждом из нас есть Христос, Целитель, к Нему и надо обращать свои устремления, но никто почему-то этого не хочет... — Филя внимательно смотрит на брата, — и без этой обращённости к Нему медицина бессильна.

— И что же... — с досадой, выдающей презрительное недоверие, произносит Шура, — что же этот... Целитель мне посоветует?

— Откажись от себя, каким сделало тебя твоё себялюбие, перемени образ мыслей.

— Вот уж нет, — решительно перебивает его Шура, — я не дурак, чтобы отказываться от миллиардных украинских сделок и от принцессы! Я стану владельцем фабрики, я сделаю победу Украины неоспоримым фактом...

— Тебе придётся обратиться к твоему врачу, пройти химиотерапию, облысеть, растолстеть...

— Нет-нет, только не это... — торопливо возражает Шура, — я не готов, не хочу, пожалуй, лучше обратиться к этому... Целителю, если это не слишком накладно...

— Твоя кровь отравлена твоим повседневным, мелким, скупым, расчётливым «я», с его чисто материальными интересами, что ослабляет в ней действие твоего высшего, надличного «Я», давая дорогу хаосу. Низшее в тебе вытесняет высшее. Так что ступай к своему врачу, пусть назначает тебе химию, которая только притупит твои мыслительные способности, частично избавляя тебя от болезненных симптомов, и ты будешь доволен. Ты ведь и сам не знаешь, хочешь ли ты на самом деле выздороветь.

— Да, хочу... но так, чтобы не облысеть и не потерять даже малой части имущества.

— Оставь себе ровно столько, сколько нужно для пропитания.

— А сам ты? — язвительно замечает Шура, — Оттяпал у отца целое поместье!

— Новый закон запрещает мне иметь в этой стране даже ветхий сарай.

Пристально глянув на брата, Шура кивает: хорошие в этой стране законы.

37

Наконец-то все этого дождались: к столичному морскому причалу прибило американский авианосец. И если раньше прибивало лишь белых китов и касаток, то теперь это — набитое снарядами брюхо, заслонившее собой вид на новый круизный причал со всё ещё снующими туда-сюда пятиэтажными «Викингами». Триста метров в длину, почти сто — в ширину, американская посудина удерживает на плаву взлётную полосу, на которой теснится девяносто истребителей, готовых в любой момент лететь на Москву.

Врезаясь налету в раздутый ветром опереточный американский флаг, местные чайки настырно кричат одно и то же, роняя ракушечный помёт на головы званых гостей. Их на авианосце более пяти тысяч, и всем им охота сойти поскорее на берег и тут же наброситься на воткнутые в булку сосиски и кока-колу, тем самым доказывая местным олухам, что Америка теперь везде. Вдобавок к этому, на пять с лишним тысяч званых гостей ещё не возвели нужное количество отхожих мест, так что американцам придётся увиливать от штрафа на каждом перекрестке, возле каждой стены или забора. Местным же олухам категорически запрещено приближаться к причалу, и даже рейсовый самолёт, и тот сворачивает теперь с курса, оставляя небо над американцами безмятежно голубым. И хотя чайки заранее предупреждают гостей, что завоевывать тут уже нечего, всё и так давно лежит в полосатом американском кармане, морская пехота норовит убедиться в этом сама, выгружая на пристань свои раскормленные фастфудом тела в глобально-победоносной униформе. Морпехи не сомневаются в том, что оказавшаяся возле их авианосца страна — всего лишь покладистый заложник американского нахрапа, и если дело дойдёт до драки с Москвой, все эти викинги попросту лягут на дно. Но пока пусть думают, что трехсотметровый авианосец прибыл их защищать... таких глупых и беззащитных.

Любой дурак догадается, что американцев зазвал сюда сам король, и притом себе на подмогу, перестав уже справляться с наплывом своих же обещаний оторвать московскому соседу голову. Обещания эти даны королём всему миру, начиная с засаленных украинских окраин, готовых облить себя местным шоколадом «Фрейя». Пусть Америка сама теперь разбирается, кого ей угомонить в первую очередь, и скорее всего первыми окажутся местные толерантные дебилы, неистово машущие опереточными флажками с бетонной набережной. И специально примчавшаяся из Калифорнии, чтобы махнуть таким же флажком, мать принцессы Лауры проталкивает вперед своего американского негра, почти уже свыкшегося с ролью чёрного опереточного

викинга. Гул едва сдерживаемого восторга, солёные слёзы радости... Америка! Ею дышит в затылок каждому слабеющая с каждым днём королевская крона, но это ведь пустяки в сравнение с короной глобального валютного каганата, давно уже отменившего национальный денежный знак. Наконец-то, дождались!.Этот авианосец отсюда уже не уйдёт, отсюда удобно наблюдать за вредным соседом, тоже весьма наблюдательным, для разнообразия дразня его комариным вылетом разминающихся в приграничном небе истребителей. И поскольку этот долгожданный праздник наконец наступил, король распорядился развесить на причале мигающую мишуру лампочек вперемежку с собственным флагом, а также устроить званый, для званых гостей, обед. И хотя из пяти с лишним тысяч американских ртов тушёную баранину со свежей ежевикой получит лишь капитан, король вместе с принцессой спешит подняться по трапу на палубу спасительного ковчега. Дважды споткнувшись, король с досадой отбрасывает костыли, и пара охранников тут же подхватывают его с двух сторон и тащат наверх, на парадно-взлётную палубу. Не отставвая от дедушки, принцесса Лаура успевает заметить, что пехотинцы, хоть и морские, почти сплошь негры, и поскольку их чёрные жизни ценятся гораздо выше жизней белых, наступление на соседа будет строго виртуальным, ведь этот проклятый сосед всё ещё считает негра африканцем, то есть соскочившей с дерева бесхвостой обезьяной. И если вдаваться в подробностии, половина из пяти с лишним тысяч прибывших живёт в законном браке с другой половиной, что в целом составляет свыше двух тысяч однополо-обезьяньих семей, готовых отобрать у врага последний виртуальный банан. И только капитан авианосца всё ещё сомневается, рубить размочаленные демократией канаты или не рубить, попеременно считая себя то «им», то «ею». Как раз на него=то и смотрит сейчас Лаура: рыжебородый, крутой. Зазвать его на королевскую яхту! Она улыбается, машет ему рукой, вытряхивает из-под синего берета расплетающуюся на ветру косу... Но капитан смотрит совсем не туда, удивлённо моргая белыми поросячьими ресницами: прямо над его головой танцует в воздухе зелёно-голубая бабочка. На пристани всюду охрана, нельзя делать снимки, нельзя даже смотреть в биноколь, но бабочка, что с неё взять, летит, куда хочет. Капитан сроду таких насекомых не видел: почти прозрачная, размером с крупную чайку. Толпящиеся на палубе негры тоже глазеют на местное чудо, должно быть прилетевшее сюда из Африки, где, как известно, клопы и тараканы тоже гигантских размеров. И тут экзотическую тварь замечает наконец принцесса Лаура, и ей тут же становится ясно: боевой дрон выбирает место для жёсткой посадки. «Как ему это удалось...» — едва успевает она подумать, и ноги сами уносят её обратно к трапу, скорее, скорее... она на ходу оглядывается на рыжего капитана, и тот, случайно поймав её взгляд, бросается следом за ней, спешно прикидывая, успеет ли вернуться к обеду, хотя какой может быть обед, когда с ним бесстыдно флиртует принцесса. И только добежав до расположенной неподалёку от причала казармы, Лаура кидается на его капитанскую, с медалями, грудь и в крайнем возбуждении шепчет:

— Вот сейчас, сейчас …

Как тут капитану не вспомнить, что сам он, числящийся гендерной бабой, всё же, увы, мужик. Там, на посудине, подождут, да хоть бы она совсем затонула...

Взвившись над палубой и вписавшимся в мягкое кресло королём, бабочка внезапно срывается вниз, опережая ускорение гравитации, и её сине-зелёная прозрачность обращается в огненный ураган взрыва. Поздно прыгать в спасательные шлюпки, поздно... Несколько истребителей, правда, успевают взлететь, тогда как остальные разносит вместе с детонирующей взлётной полосой. И поднявшийся у причала шторм уносит королевское кресло в открытое море.

38

Отпихнув запутавшегося в собственном гендере капитана, Лаура вламывается в казарму. Здесь всё уже знают: короля больше нет, авианосец неспешно опускается на дно. Но есть королева! Да вот и она сама, в солдатской форме, с расплетённой на спине косой. Должно быть долго бежала, запыхалась. И все, кто теперь в казарме, разом выстраиваются в два ряда, и Лаура принимает этот первый свой королевский парад. Ей есть что сказать, она только что оттуда, она знает, что теперь делать. Заправив растрепавшуюся косу обратно под берет, она возвращает себе военную выправку, она ведь солдат.

— Теперь мы можем наконец заявить, — уверенно произносит она, — что мы — не Америка. Наши местные гражданские аэродромы отданы под американские базы, наши банки переметнулись за границу, наш нефтяной фонд нам больше не принадлежит, и тем не менее, мы — не Америка. Мы долго играли в эту большую игру, обыгрывая самих себя, мы по уши увязли в тине хищной, ненасытной демократии, отдавая страну умственно отсталым мигрантам, мы втянуты в бессмысленный спор с нашим грозным соседом. Пора думать о переменах, иначе будет поздно. Вы все здесь такие же, как и я, солдаты, но не все из вас готовы идти со мной до конца... — она идёт вдоль выстроившегося ряда, заглядывая каждому в лицо, — Кто готов?

Шёпот, шорох, движение. Казарма — не место для бунта, здесь всюду видеокамеры. Но как устоять, если тебя соблазняет сама королева? Снова пройдясь вдоль ряда, Лаура называет каждого по имени, они все храпели вместе с ней в одном отсеке, и двенадцать из них становятся теперь её личной охраной. Последний, в ком Лаура пока сомневается, только что закончивший школу, совсем ещё мальчик, хочет что-то сказать ей, но не решается, и она уводит его во двор казармы, под старый каштан, где нет никаких видеокамер.

— Я же знаю, с кем ты водишься, Зигги, — с ходу начинает она, — и можешь передать своему фюреру, что мне нужно сто прочных щитов, сто готовых к

уличным потасовкам крепких ребят. Передай также, что я жду фюрера у себя, его пропустит вахтёр, теперь наше время.

— Да, но король был всегда против, попросту считая нас гитлеровской сволочью, и только потому не запрещая нам собираться, что так ему было проще за нами следить.

— Знаю, — обрывает его Лаура, — но я не король, я королева. Я знаю о Гитлере больше, чем это дозволяется знать политику и журналисту, и меня он нисколько не пугает. Но его демонизированный, заведомо ложный образ прочно сидит в башке у каждого, удерживая от дискуссий насчет шести миллионов евреев, беспошлиино улизнувших из Третьего рейха в Америку. Как раз такие дискуссии я намерена вскоре начать, попутно выяснив, что означает пугающее всех слово «нацист». Я ведь читала вашу национал-социалистическую программу, и многое мне нравится. Но вы ведь ничего не делаете, кроме как расклеиваете листовки на мусорных ящиках и мотаетесь со своими флагами по улицам, да и то с разрешения полиции. Для вас важно одно: чтобы ваш любительский клуб не запретили. И это вы называетет борьбой?

— Мы ждём подходящего момента...

Лаура берет его за плечи, смотрит в глаза. Этот мальчик еще не испорчен, ему дороги идеалы, и одно только это даёт ей уверенность: он пойдёт с ней до конца.

39

Только когда турецкий «Пегас» отрывается от взлётной полосы, Филя перестает ждать, что за ним явится полиция, теперь он в небе. Бабочка бесследно сгорела в момент взрыва, и пройдёт ещё много времени, прежде чем кто-то смекнёт, как этот дрон устроен. Хотя уже сейчас ни у кого нет сомнений: дрон русский, а потому крайне опасный. У русских ведь опасны даже зонтики и утюги, и любой кусок стирального мыла может оказаться средством массового уничтожения. Но туркам на это плевать, у них самих полно всяких опасных штучек, и даже кофе у них — турецкий. Они летают себе, турки, куда вздумают, хотя все границы давно закрыты, разве что негр перепрыгнет с разбегу через колючую проволоку. И тот, кому куда-то всё ещё надо, униженно благодарит турка за то, что тот взял с него всего-то втридорога за кружку жиденького турецкого чая. Хочешь попасть из Хельсинки в Питер — тут всего час лёту — лети сначала в Стамбул, на черноморский курорт, а оттуда обратно, на балтийский курорт, за двое суток, если повезет, доберешься.. Чем дальше ты от своей конечной цели, тем сподручнее турку ввернуть тебе в спину штопор, и не потому, что турку больше нечем заняться, но потому что иначе он не может. Турок должен, обязан, призван переиначивать чужое, а ещё дучше — выворачивать

наизнанку. Турок всегда захватчик, и даже торгуя никому не нужным мусором, он продавливает своё, турецкое, расчетливо грубое, чуждое веками вынашиваемой в муках европейской сердечности. Не представляя для турка никакого, кроме мелочной торговли, интереса, Европа пригревает возле своих ворот своего трудолюбивого врага, всегда готового преподнести ей хороший турецкий подарок.

Хотя турки и явились с востока, хлынув в римско-греческие угодья шквалом кривых мечей и неблагозвучностью полумёртвого языка, их настоящей родиной является запад, осевшая на дно моря Атлантида. Ни один турок, впрочем, об этом не догадывается, не подозревая, что породивший турка Туран и был причиной разрушения огромного атлантического материка: черная магия туранского сатанизма вызвала в конце концов великий потоп. Однако сами туранцы успели вовремя сбежать на восток, догнав отступивших из гибнущей Атлантиды монголов, и из этой гремучей смеси — пассивной монгольской стадности и кровожадной туранской воинственности — и получилась потом орда, как грозный противовес едва только начавшему себя осознавать индивиду. Этот неистребимый Туран! Он отнял уЗаратустры его арийскую родину, отнял у римлян Константинополь, отнял у Софии храм, сделав его мечетью. По ходу дела туранский турок успел побыть предприимчивым младотурком, присвоившим армянский Севан и выгнавшим миллионы недорезанных армян в пустыню.

И вот теперь снова Туран, он должен разлечься под азиатским брюхом России, согнав в подобие орды отбившихся от кормовой российской базы, бесхозных малонародцев, связав их вместе жёстким неблагозвучием турецкого языка. Новый Туран, готовый вытоптать, сжечь, изнасиловать Европу, прибить её за уши к кресту.

Пройдя в Стамбуле паспортный контроль, Филя наконец включает телефон, и далёкий, теперь уже такой далёкий голос Лауры заставляет его тут же прервать звонок... она жива! Танцующая над палубой авианосца бабочка следила за ней, желая быть ею замеченной, желая предупредить...

40

Мало кто принимает всерьёз запоздалые увлечения родителей, считая их бесспорным знаком приближающегося конца. Хотя ведь конец может наступить уже в самом начале, между сменой молочных зубов и первой подростковой влюблённостью, если замечать только то, что вокруг, не давая расти из себя своему превосходящему это окружение солнечному «Я». Стоит только научиться в три года читать и шлёпать по мобильнику, и старик, считай, готов: всё нежное, зелёное, растущее становится жёстким и усыхает, рассудок выкачивает из души трепет и удивление, загрязняя её готовыми формулами недоверия и цинизма. Ведь старость — это и есть один только телесный интерес, которым ипитается неимущая, истощённая скукой и

пустотой душа. И это пустодушие пожирает в конце концов тело, пытаясь извлечь из него хотя бы только механику жизни.

— Я, видишь ли, напрасно старался казаться не тем, кем я на самом деле являюсь, — обстоятельно поясняет Кнут, исподлобья посматривая на Шуру, — а я ведь хочу только покоя, бесстрастия, невозмутимости, тишины, которые, единственно, и позволяют прислушаться к биению своего сердца...да, вслушиваться, ждать милости...

— От кого? — раздражённо перебивает его Шура, — Будешь ждать, не дождёшься, давай лучше работать, мы же на войне...

— … жлать милости от своей интуиции, — не слушая его, продолжает Кнут, — что случается крайне редко, когда ничто тебя не тревожит, не злит, не влечёт, когда ты весь — смиренное ожидание. И неважно, как долго ты ждёшь эту весть, а может, и не дождёшься, важна лишь постепенно расцветающая в тебе любовь, не та, что делает тебя нормальным семейным эгоистом, перерождаясь в привычку, но та, что ничего для себя не хочет, никакой компенсации, никакой награды. Ты смотришь на звёздное небо и не можешь не чувствовать своего с ним родства, и это знак того, что в жизни не всё так убого и скучно, что сама эта жизнь — всего лишь командировка с целью исправления прежних ошибок. Но уже в этой моей жизни я отказываюсь продолжать мною начатое, давшее мне в избытке то, к чему многие хотели бы стремиться. Я закрываю фабрику, теперь там будет пекарня.

— Но как же... как же наша победа? — растерянно бормочет Шура, — Мы провели испытание высокоинтеллектуального дрона, способного нести...

— Да, я в курсе, один такой израильский мини нюк грохнул американский авианосец, — с усмешкой произносит Кнут.

— Этот нюк был украден, — с досадой произносит Шура, — и мы с тобой знаем, кто вор.

Оба молчат, каждый со своими мыслями, зная при этом, что сойтись им теперь невозможно. Власть кровного родства внезапно отступила, обнажая скуку и пустоту, никчёмность дальнейшего приспособления к прихотям другого. Что сыну отец, усомнившийся в достоинстве прожитой жизни, что отцу сын, спешащий куда-то мимо...Время круговой семейной поруки стремительно уходит, уступая растерянности и отчаянию, и нет никакой больше в мире опоры, разве только ты сам, слабый, растерянный, неимущий.

— Эта страна для него закрыта, — продолжает Шура, — и хорошо, что он уехал. Но мне всё время кажется, будто он здесь, ходит за мной по пятам, встревает в мои мысли, вызывая сомнения в самых простых вещах. Он словно запирает меня в тёмном и тесном пространстве моего над остальными превосходства, заставляя меня осознать невозможность перемен, невозможность бегства. Он отнимает у меня Лауру, даже сейчас, когда его здесь нет...

— Она и раньше не была тебе парой, — замечает Кнут, — эта наряжающаяся солдатом блудница, хотя ты и сам... — он пытливо смотрит на Шуру, — ничуть не лучше. Давай-ка становись пекарем, будешь продавать вместо дронов хлеб, а война и так скоро закончится, без тебя.

= Зачем мне эта твоя пекарня, когда я владею лучшим украинским чернозёмом, и все урановые, литиевые, никелевые недра тоже мои!

— Скоро ты потеряешь всё, и что тогда? — Кнут берёт с полки недавно купленную книгу, — Здесь все рецепты какого хочешь хлеба, а также тортов, пирожков, пиццы...

Отвернувшись, Шура рассеянно смотрит в окно, не видя при этом ни зелени газона, ни припаркованной возле дома машины... и откуда-то издалека к нему присматривается оказавшийся его братом враг.

41

Те, кто в правительстве, тоже, бывает, спешат на работу. Хотя любому из них хорошо известно, что сам он ничего не решает, его дело — сидеть. Сидеть до двенадцатичасового ланча, потом до трехчасового кофе, и всё это время изо всех сил... голосовать. Среди сидящих есть кое-какие различия, одни напирают влево, другие вправо, тогда как между ними суетливо мечется третий, он же лишний, кого в игру не берут. Правда, играют вяло, порой даже с отвращением, но кто же их, сидящих, заменит, кто вывезет на себе воз бестолковости и скуки.Так, оставаясь незаменимыми, сидящие прочно прирастают к партийным креслам, отодрать от которых их может лишь смерть.Те, кого тянет налево, меняются местами с теми, кому направо, и этот вечный, нерушимый порядок в который уже раз обещает всем: больше того же самого.

Перед тем как озадачить сидящих своим появлением, Лаура примеряет доставшуюся ей корону и прилагающиеся к ней ордена, весело поблёскивающие на её чёрном траурном платье. Куда лучше было бы надеть военную форму и упрятать под синий берет вороной конский хвост. Но надо же хоть раз побаловать своё правительство, представ перед ним в приятном облике легко управляемой двадцатитрехлетней королевы.

И вот она среди них, ещё не готовых слушать её девическую болтовню, и многих заранее клонит в предобеденный сон. В последний раз, перед тем как затонуть вместе с авианосцем, король сказал им, что пока существует монархия, можно и дальше так сидеть, уступая друг другу место согласно заранее определённой очередности. Сказал ещё, что рокировка левого и правого осуществляется народом, чем очень озадачил обе стороны, давно уже решившие между собой, кого пропихнуть вперёд. И если от левых всё ещё разит рабочим потом товарища Троцкого, а от правых несёт прогорклым жиром ростовщика, то в зажатой с обеих сторон середине бурлит

просроченная закваска вольного каменщика, всё ещё строящего третий по счету иерусалимский храм. Присматриваясь то к тем, то к другим, король так и не решил, кому доверить охрану заказанного им для себя гранитного саркофага, тем самым давая свободным каменщикам шанс вступить наконец в игру. Но они так и не вступили, занятые вознёй с украинцами, в их массовом набеге на нисколько не нуждающееся в них королевство. Король успел также заглянуть напоследок в синагогу, на праздник «Всё для Израиля», где купил себе ещё одну кипу. И уж совсем напоследок король решил прокатиться в трамвае, вместе с набившейся в вагон личной охраной, что тут же убедило народ в собственной близости к его величеству. И разве теперь, въехав на небеса вместе с американской морской пехотой, король не остаётся фирменным знаком удобно устроившейся в партийном кресле демократии? Король и демократия — одно и то же. В своей изначальной, греческой сути демократия вовсе не имела в виду обслуживающих народ рабов, так что вкалывающему сегодня за жратву и крышу над головой работнику остаётся лишь демократично посторониться.

Поднявшись на королевскую кафедру, Лаура молча оглядывает собравшихся, уверенных в том, что сказать ей попросту нечего. И по рядам ползёт ядовитый шёпот: золотая, с алмазами, корона сидит косо, а ордена, сколько их тут, приколоты не там.

Сдвинув корону почти на затылок, Лаура глубоко вздыхает, и каждый, кто тут, считает мгновенья... и вдруг:

— Меня связала с вами судьба.

Сказав это, Лаура снова молчит, будто что-то припоминая, и сидящие готовы уже подсказать... они-то знают, что следует говорить королеве. Но вот она наконец что-то вспомнила, встряхивает вороным конским хвостом...

— Экономика вытесняет из нашей жизни всё остальное, — уверенно начинает она, — и это непременно закончится крахом самой экономики. Имея нефтяные миллиарды, мы не имеем большого или даже посредственного искусства, не имеем никакой, кроме криминального детектива, литературы, наша наука питается искусственным интелелктом и лжеисторической мифологией, нашей культурой заведуют выходцы из глухих азиатских закоулков, приспособившиеся повторять за нами одни и те же мёртвые лозунги. Мы пока ещё держимся на плаву за счёт старых моральных запасов, но они стремительно иссякают под напором экономического эгоизма, их место занимает толерантность к любому пороку, с чем каждый может столкнуться уже в детском саду...

Те, что приготовились уже вздремнуть перед ланчем, нехотя прислушиваются: что это королева несёт? Скоро обед, а она тут о чём-то болтает, что никого никогда не интересовало. Левые вопросительно посматривают на правых, а те — на вольных каменщиков, и вписавшийся в первый ряд трансгендер ехидно, по-бабьи, замечает:

— Неужели не ясно, что королева шутит? Скоро обед, надо как-то

взбодриться. Мы слушаем тебя, Лаура, слушаем!

— И наша правовая система, — невозмутимо продолждает она, — считает законной нашу войну на Украине, хотя ведь на нас никто не нападал, и попросту переступает через закон, позволяя американцам лезть сюда в мирное время, захватывать наши провинциальные аэропорты, навязывать нам содержание тысяч солдат. Мы, что, совсем уже беззубые и безмозглые? — она с вызовом смотрит на сидящих, — И как по-вашему называется пренебрежение законом в угоду партийному благоденствию на фоне теневых доходов?

— Наша помощь Украине совершенно законна, — находчиво подсказывает оборонный министр, — помощь независимой европейской стране...

— Может ли одна половина народа быть независимой от другой половины? — с усмешкой осаживает его Лаура, — Достаточно принять эту, скажем так, логическую ошибку, и дальше всё пойдёт уже вкривь и вкось, пока не въедет на полном ходу в трясину катастрофы. Мы тратим миллиарды на то, чтобы натравить одного брата на другого, мы обворовываем наших малоимущих, чтобы ввозить сюда украинскую нищету, и мы хотим лишь одного: больше того же самого. Но если мы, сидящие тут, этого определённо хотим, это вовсе не значит, что этого хотят содержашие и обслуживающие нас работяги, они этого совсем не хотят!

Даже те, кто почти уже задремал, теперь встрепенулись: слышать такое от королевы! Кто она, в самом деле, такая? Щедро оплачиваемая из бюджета кукла, предмет слухов и сплетен, пустая оболочка давно уже не существующей власти, иллюзия национальной общности... Эта, чересчур о себе возомнившая королева Лаура. Пусть покупает себе яхты и виллы, пусть наряжается в военную форму и спит в казарме с солдатами, но рулить ей никто не позволит, не её это королевское дело. Так же как президентов и премьер-министров, королей просеивают сквозь сито лояльности и послушания, уступчивости и преданности счастливому глобальному будущему, вызревающему на удобренной кровью и нечистотами демократической почве. И поскольку у этого будущего есть уже настоящее, следует избегать любой, лаже самой невинной, самостоятельной мысли, не надиктованной учителями хорошего поведения. Это глобальное будущее обещает стать триумфом сжигания всех имеющихся на земле материальных ресурсов, включая легко воспламеняющиеся тела людей, уже не считающих себя способными однажды воскреснуть.Это будущее всесожжение должно уже сегодня вдохновлять дорвавшегося до власти, открывая перед ним неограниченные возможности самой изощрённой, спасительной лжи. Она разбросана по всем школьным предметам, ею пропитана любая партийная возня, и некому сорвать с неё праздничные одежды. И только прислуживающая лжи глупость порой и выдаёт её сатанинское присутствие, попросту перестаравшись лжи угождать. Что если королева Лаура феноменально глупа, со всеми своими возмутительными намёками? Тогда всё в порядке, можно спокойно обедать. Глупая королева — лучший подарок

демократии.

— Это и есть коррупция, — напористо продолжает Лаура, — коллективный продукт всех здесь сидящих, навязывающих этой стране чуждые её духу стремления. С какой стати мы должны закрывать границу с соседом? Он же нас не кусает, не тырит у нас нефть и треску. Он просто есть, этот сосед, и он большой и вовсе не слабый. С ним лучше по-хорошему, а то ведь... — она усмехается, — хватит медведя дразнить!

Ряды мягких спальных кресел начинают тревожно шевелиться, и задремавший было премьер-министр сутуло поднимается над остальными и укоризненно, с какой-то даже грустью произносит:

— И это говорит наша королева? Мы, конечно, готовы простить Лауре эти заблуждения молодости, готовы помочь ей осознать громадную ответственность...

— Я и так её осознаю, — невежливо перебивает она его, — и именно поэтому я всё это и говорю вам, привыкшим слышать от короля затёртые штампы и пустые обещания. Наш основной закон позволяет мне, королеве, в особых случаях брать на себя всю полноту власти, и сейчас как раз этот случай: мы довели себя до прямого вступления в ненужную нам войну. Я требую роспуска правительства до ближайших выборов.

Сказав это, Лаура спокойно ждёт бури.

42

Ураганный ветер дует обычно с бабьей, гламурной стороны, со стороны парфюма, острых ногтей, аварийно подтянутых век, грудей и ягодиц, внесезонных пиджаков на голое тело, соломенных, ровно до плеча, стрижек. Политическая баба — это не просто болтливый курятник, силящийся перекричать петуха, это пожарная и скорая помощь, бессонный спецназ, размазывающий в упор любые фортификации врага. И вечный бабий вопрос звучит поэтому так: быть или не быть всё ещё существующему мужику, а если быть, то... зачем. Мужик, конечно, размышляет, каково ей теперь, политической бабе, плодящейся, как муха, в тесноте партийных контор: пиджак, брюки, должность. Особенно идёт бабам должность: она красит без исключения всех. Жаль только, что место королевы всего одно, а то бы всем оно подошло. Всем кроме этой беспутной, распутной Лауры.

Те из баб, что законно считают себя мужиками, будучи в браке с боевыми подругами, почти уже определились с укрепляющим их самоуважение выводом: королева Лаура сошла с ума. Эта ошеломляющая новость скачет по рядам, сшибая последние сомнения: королеву надо убрать. Убрать так, чтобы оставить её на виду, на обложке еженедельника слухов и сплетен, раскупаемого охотнее пива и хлеба. Что из того, что королева у нас дурочка, привыкнем. Привыкли же к трясущей голыми бангладешскими сиськами

министру здешней культуры. Привыкли к вонючему кебабу, к спускающей на сцене штаны местной пакистанской юмористке, привыкли даже к бегающему на лыжах негру. Подсев к премьер-министру, мужиковатая леди излагает свой гениальный план: отправить Лауру на воинские учения, пусть постреляет, порезвится, пусть даже залезет в кабину истребителя, сдуру ума. И премьер только кивает, кивает... он ведь потому и сутулый. Да, но как же продолжить праздник «Всё для Израиля» без королевы? Праздник круглогодичный, круглосуточный, тотальный. Ради него-то и мрут ненужные даже самим себе, самоназванные укры, выстилая своими выпотрошенными на органы телами дорогу к многовековой израильской мечте: разлечься от Эрмитажа до египетских пирамид, тем самым кошерно перерезая глотку всё ещё мычащей о чём-то истории. Премьер-министр не раз уже бывал возле размокшей от израильского плача стены и даже сунул в щель служебную записку, с подписью будущего атлантического генсека. И теперь к этой исписанной доносами и жалобами стене должна припасть королева Лаура, иначе никто её королевой не признает. Военные учения пока подождут, тем более, что сосед засылает туда же китов-шпионов и всякую тресковую мелочь, прикидывающуюся то селёдкой, то килькой.

— Это твой, Лаура, первый королевский визит, — деловито заключает премьер, — и не забудь убрать из выреза платья этот провокационный, на шерстяной нитке, крест, иначе стена плача тебя не услышит, зря только будешь ныть. Писать записку лучше на денежных купюрах, быстрее дойдёт, а если нет свободной щели, клей доллары прямо на стену...

— Вот уж куда мне не надо, — невежливо усмехается Лаура, — ехать к какой-то там стене и биться об неё лбом! У Израиля нет очерченных на карте границ, он здесь и там, он везде, этот пожиратель не только соседних территорий, но и всего остального мпра, и это тёмное пятно расползается всё шире и шире, подбираясь к нашему нефтяному благоденствию, и мы сами этого хотим. Нас держит на привязи американский печатный станок, у нас не осталось никакой, кроме военной, промышленности, нет ни одной бумажной фабрики, и даже дрова мы пилим за границей и ввозим оттуда туалетную бумагу, вывозим в Китай свежую рыбу, чтобы там её расфасовали и вернули обратно уже не свежей, и все наши банки норовят удрать за бугор, увлекая в пропасть инфляции нашу королевскую валюту. Он здесь, Израиль, на каждом шагу, медленно, но верно сгоняющий нас с нашего полуострова заранее организованными миграционными цунами. Всё для Израиля!

— Но, Лаура, — сам не свой от возмущения, не сдаётся премьер, — наши американские обязательства...

— Никаких американских обязательств у нас нет, — наступает на него Лаура, — зато есть сговор с грызущим Америку паразитом, и это всё тот же Израиль, это с ним мы вступили в захватнический союз, грозящий нам самим умственной отсталостью и нищетой. Две мировые войны ради искусственно организованного, не имеющего границ государства, фантастические германские репарации в пользу мошеннической лиги кровожадных раввинов,

и теперь вот третья мировая, с нашим участием и за наш счёт. Короче, туда я не еду, но... — Лаура вызывающе смотрит на сжавшегося в комок премьера, — еду в Москву! На королевской яхте, с моей теперь уже командой.

Ряды спальных кресел сминаются шквалом негодования, левое наезжает на правое, выжимая из сплющенной середины последний беспомощный хрип: если королева не шутит, то попросту издевается над сидящими, разом перечёркивая их креативную элитарнность. Ехать в Москву, с которой мы намерены воевать до победного конца, до последнего самодельного дрона? Плыть под королевским флагом на свидание с врагом, упрямо не желающим сдаваться? И тут кого-то клюёт в макушку давно уже заждавшееся, спасительное решение:

— Но это же совершенно неизвестный нам русский мир! Русская цивилизация! Агрессивный евразийский синдром!

Выкрикнув это, кто-то тут же ныряет в приграничную, между правым и левым, масонскую зону, наблюдая оттуда за схваткой. В отличие от всех остальных, масон всё ещё верит в скрытые от глаз возможности, воспользоваться которыми может лишь он сам, вовремя своровавший у тамплиеров-альбигойцев-катаров их высиженные в скромности, бедности и послушании сокровища. Масону поэтому виднее, куда повернёт блудница-история, и он заранее готов подставить ей подножку.

— Какой ещё русский мир? Какая русская цивилизация? — насмешливо произносит Лаура, — Никто с таким усердием не строит у себя глобально-товарный порядок, как русские. Сами они до этого не допёрли, будучи безголосым православным стадом, но евреи повели их вперёд, научив тому и этому, а русский, как известно, очень талантлив и развивает усвоенное дальше, теперь уже как своё. Сегодня Россию сжирает та же тотальная, что и у нас, экономика, ставящая материальный интерес превыше всего. И хозяин у всех один, что у нас, что у них, и ему необходим хаос, чтобы крепче вцепиться в загривок эгоизма и жадности. Но у нас есть одно преимущество: наш эгоизм старше и опытнее. Наш эгоизм уже подводит нас вплотную к неизбежному вопросу: что дальше? И кто-то из нас пытается уже переползти через границу зримого, отыскивая незримую подоснову событий. У русских этого пока нет, но они могут оказаться способными учениками. И нам, в свою очередь, нужна русская — и даже евразийская — свежесть и дикость. Мы движемся друг другу навстречу, к нашему будущему браку, и даже воюя сегодня друг с другом, мы незаметно для самих себя присматриваемся друг к другу...

Испуганно переглянувшись с мужиковатой леди, премьер ссутуливается ещё больше, его профессиональная толерантность готова уже испустить дух: какой бес вселился в королеву?

Бес, известное дело, не заурядная загадка природы и даже не повод сойти с ума — вон сколько везде совершенно нормальных бесноватых — это скорее эпилептическая фантазия автора «Бесов», хлынувшая на него в виде писательского гонорара. Бесы не делают революций, не вступают в

преступный заговор, не крадут в магазине булки, они лишь наблюдают за ходом дела, охотно подогревая и так уже кипящую смолу, и это они обязаны людям за приятное развлечение, а не наоборот. Бес приходит всегда на готовое, как туберкулёзная палочка поселяется на неправильно работающем лёгком. Они везде, бесы, они всеядны, и нет ничего для беса слаще эпилептической мысли о величии и славе. Одного только бес не выносит: когда кто-то начинает сознавать, что в нём самом живёт Христос.

43

Отставка правительства — дело накладное, их всех придётся кормить и утешать, а некоторых даже заставлять писать многостраничные мемуары. И пока проветривается помещение и делаются снимки на память, каждый прикидывает, куда ему теперь. Обычно туда же, на те же спальные места, на неопределённо резиновый срок, с тем же самым набором согласий и возражений. Но на этот раз что-то пошло не так, против правил: на предвыборные бега выпускают тёмную лошадку, с тёмным национал-социалистическим прошлым и ещё более тёмным, не поддающимся статистическому учёту настоящим. Никто пока толком не знает, каково поголовье нежданных скакунов, и одно только ясно: эти рванут.

Они засиделись в своём принудительном бездействии, увязли в партизанской осторожности, а также порядком обнищали, взвалив на себя, кроме собственного прокорма, ещё и нужды движения. Их едва только терпит шумный партийный базар, выдавливая на обочину, куда не сунется даже любопытный, и всё из-за того, что иноходцы бегут не по правилам, обещая отослать обратно всех негров и сделать, как у Гитлера, независимый от доллара национальный банк. Ещё они хотят, эти скакуны, сбросить с себя американского жокея, втыкающего в бока шпоры, рвущего пасть уздой. Не будет больше ни добровольческого антирасистского центра, ни даже колелкции старых носков и сбритых бород и пейсов в музее холокоста, не будет радужного флага, не будет гендерного многообразия... Зато будет виселица с короткой петлёй, к примеру, для сутулого премьера, швыряющего нефтяные миллиарды просроченной, гниющей Украине. На короткой петле будет болтаться и главный повар вечерней программы теленовостей, бесперебойно сервирующий обезьяний понос в качестве сенсационного деликатеса. Вечерняя новость — это приказ к наступлению на завтрашний день, приказ стать в строй и всем вместе вломиться в ещё одну невозможность. И кто-то ведь сам полезет в петлю, обнаружив, что нет больше ни газа, ни тока, ни даже дров. И расстрелянный на рассвете Квислинг накормит — ему не впервой — милллионы голодающих.

Ухитрившись пролезть в предвыборную гонку, гитлеровские иноходцы обклеивают своими руническими листовками заборы и стены, мусорные и почтовые ящики, чтобы всем стало наконец ясно: здесь теперь национал-

социалистическая зона.

Не все они, правда, понимают, что эта зона — весго лишь неотложная гигиеническая мера вроде мытья полов или травления грызунов и тараканов, а дальше — терпеливое наведение порядка, какого ещё нигде никогда не было: порядка в самом человеке. И этот порядок — космический. Не тот, что зазывает глупцов на Марс и на Луну, куда каждый и так попадёт после смерти, не тот, что видит основу всех вещей в атомах, считая жизнь продуктом их механического сцепления. Законы природы — они же законы Яхве — бессильны что-либо сказать о смысле жизни, поскольку смысл как раз и состоит в высвобождении из природного плена, в преодолении того, что подлежит разрушению, смысл — в усвоении воскрешающего импульса Христа. И кто-то ведь должен начать об этом заботиться, пусть даже рискуя оказаться в одиночестве. Таких среди иноходцев нет, но каждый догадывается, что ему предстоит не просто бег с препятствиями, с клочьями пены и налитым кровью глазом, но мучительный подъём в гору.

44

Сразу после выборов королева Лаура начинает готовиться к переезду, объявив о ненужности ей королевского дворца. Эта новость затмевает собой даже загадочное потопление американского авианосца, настраивая многих на ожилание скорого конца света. Королева без королевского дворца? Стаи ворон и галок в королевском парке готовы уже рвануть следом за Лаурой в затерянное среди полей, полуразрушенное поместье. Там когда-то был монастырь, кормивший себя и всю округу хлебом, яблоками и мёдом, и вечерний звон колокола убеждал каждого, что в мире всё так как надо. Когда же пришло время больших денег, монахи разом перевелись, и доставшаяся спекулянтам земля, хоть и сдаваемая в аренду, одичала и истощилась, став пригодной разве что для свалки. Но сами постройки, каменные, на гранитном фундаменте, как стояли так и стоят, вопреки полному к себе равнодушию владельца. Один из домов, с обступившими его старыми вишнями и кустами сирени, сразу приглянулся Лауре: таинственно тихий, давно уже нежилой, он словно отдыхает от прежней монастырской суеты, и осенние вздохи ветра над его замшелой черепичной крышей вторят скрипу чердачного окошка, наполовину сорванного с петель. К воротам усадьбы ведёт березовая аллея, посаженная ещё монахами, но как давно это было, никто уже и не знает, и даже колокол об этом молчит.

Березовка.

Купив монастырский двор, Лаура оставляет всё как есть, не снося ни амбара, ни конюшни, ни кузницы, ни гончарной мастерской, не спилив ни одной берёзы. Среди иноходцев много толковых ремесленников, ещё не потерявших вкус к работе не ради денег. Кого-то позвали, кто-то пришёл сам, и все они видят теперь: у Лауры есть план, и вовсе не королевский.

Сюда не придёт за добычей прожорливый банк, не явится пронырливый сборщик скандальных новостей, не подползёт услужливая безвкусица дешёвых перестроек. И каждый знает: здесь поселяется что-то важное, и это теперь надолго.

Тишина уходит из жизни в прошлое, её не завоюешь, не купишь, уходит туда, где мир и довольство малым не нуждаются в громогласном признании. Из этого прошлого всё ещё веет смирением и надеждой, в нём вьёт свои гнёзда фантазия, и милось внезапной интуиции высвечивается в мерных ударах колокола. У прошлого нет срока давности, оно теперь здесь, будто никуда и не уходило, и это к нему устремляются едва заметные ручейки, иначе обречённые на высыхание: сюда придут утолять жажду.

И сама королева — тоже прошлое, едва умещающееся в скудном, не прогретом душой, не прокалённом мыслью распорядке высокооплачиваемой должности. И кто же вправе считать себя сегодня королём? Кого призывает в долгий путь падающая с неба звезда? Три короля, три волхва пришли пешком издалека поклониться новорождённому Заратустре-Иисусу, и дары их были королевскими: смирение, благоговение, милосердие. Кто годен сегодня нести эти дары дальше? Кто готов стать учеником начального класса в великой школе Христа, всё ещё незримой для остальных?

Время королей давно ушло, как ушли и сами королевские навыки, уступив дешевым ухваткам денежного нахрапа. Ничтожные, скучные, никчёмные короли и королевы. Никто из них сюда не явится, и именно поэтому Лаура теперь здесь.

В королевском дворце тихо и пусто, ушли безымянные тени прислуги, ушли из сторожевой будки королевские гвардейцы, и даже ленивые от сытости королевские мыши, и те куда-то ушли. Всё словно затаилось в ожидание чего-то доселе неизвестного, в может, попросту утерянного, пока ещё невостребованного, но втайне желанного: в ожидание таинства Грааля. И каждый, кто заглянет сюда, в этот университет Грааля, сможет узнать, что Грааль есть неустанное восхождение к той живой, сердечной мудрости, в которую по каплям вливается солнечная кровь Христа.

45

Вернувшись на фронт в конце ноября, Филя оказывается в том же самом медпункте, где когда-то просидел сутки с пробитым пулей сердцем. Фельдшер тоже тот, что и раньше, но пока Фили не было, успел попасть в окружение и выползти вместе с украинским дезертиром, которого потом взял в плен. Возвращение Фили его крайне радует, все-таки врач, а раненых полно, лежат, кто на кровати, кто просто на старом матрасе, а сам фельдшер спит в телогрейке на принесённой из соседнего дома двери, подложив под голову еще один ватник. Для Фили, правда, постели не нашлось, и он кладёт

на пол еловые ветки, накрывает их лежащей без дела палаткой. Занимая неотапливаемое помещение склада, медпункт — всего лишь временная отсидка для раненых, здесь не дадут ни горячего супа, ни чая, только бодрящую кока-колу, ведь местной водой, заражённой трупнымс ядом, можно разве что мыть машины. Тут рядом лес, и лучше туда не соваться, там всюду неубранные украинские мертвяки, до которых нет никому дела. И в пустых, разграбленных польскими мародёрами деревенских домах всё ещё дожидаются похорон не успевшие вовремя удрать старики. Необъятное украинское кладбище, оно теперь везде, оно глумится над самоубийственной украинской глупостью. И дело не в том, что мало оружия или денег, но только лишь в недомыслии, от которого решительно отворачивается владеющий этой землёй архангел, да, русский архангел. Зачем ему эти пустые, не освещённые разумением головы, эти отравленные похотью убийства тела? Архангел попросту отходит в сторону, ему нечем тут питаться, нечем дышать. И брошенные им, сотни тысяч недоумков заранее обречены отравлять своими трупами эту растерзанную, взрытую снарядами землю.

Грохот близких и отдалённых взрывов не даёт никому уснуть, и только дежурный оператор дронов и может отключиться на пару часов, устроившись в подвале разбитого дома. Те же, кто на вахте, приспособились засыпать на несколько минут, урывая для себя драгоценные паузы тишины. Крепко спит лишь прикормленный фельдшером кот, давно уже свыкшийся с неизлечимой тупостью людей. И глядя на него, свернувшегося клубком на украденной из соседнего дома подушке, Филя старается думать только о хорошем...

Пришёл раненый и сказал, что там, в лесу, ещё один, с перебитой ногой, замерзает. Конец ноября — это уже зима, и первый снег тут вовсе никого не радует. Оставив раненого с фельдшером, Филя уходит, присматриваясь к едва белеющим в темноте пятнам снега. Теперь только надежда на слух, улавливающий среди лесных шорохов признаки жизни. И кажется Филе, что где-то поблизости скулит собака... нет, только кажется, это раненый пытается ползти сам, опираясь на сломанную ветку, да вот он, совсем уже без сил. Взвалив его себе на спину, Филя снова прислушивается: в самом деле, собака... но надо спешить обратно. Едва отдышавшись после тяжёлой ноши, он снова идёт в лес.

Снег пока ещё мокрый, всюду под ногами вода, а идти ещё неизвестно сколько. Только последние несколько дней сюда перестали прилетать «птички», но завтра, кто знает... Глаза уже привыкают к темноте, и рыхлые пятна снега подсвечивают намокший, с остатками листвы, кустарник. Он слышит теперь: собака совсем рядом. Их много теперь везде, бесхозных, промышляющих трупами, одичалых. И даже если хозяин вернётся, собака вряд ли его узнает, так же как и он её, каждый теперь за себя и против другого. Он снова прислушивается: похоже, собака тут не одна. В лес то и дело пробираются укры, полагаясь на свою хуторскую хитрость, и следом за ними готовы уже наступать куда более хитрые поляки, заранее прикинувшие, сколько велосипедов и стиральных машин можно упереть из брошенных домов. Полякам недосуг выяснять, кто тут свой, а кто нет, достаточно

автоматной очереди. Себе барахло, остальное воронам.

Притаившись возле разлапистой ели, Филя присматривается, и не столько глазом, сколько внутренним зрением улавливает какое-то движение, улавливает беспокойство и страх. В нескольких шагах от него жмутся друг к другу две женщины.

Обе сидят на куче еловых веток, рядом накрытый одеялом шалаш. Беженки, куда их только не заносит. У одной из них на коленях собачонка, такая же жалкая, как и хозяйка, и обе дрожат от холода и страха. Наконец та, что постарше, сбивчиво произносит:

— Наш дом сгорел... и мы ушли в лес... нам больше некуда идти...

Она говорит по-русски, и Филя тут же принимает решение: привести обеих в медпункт, там хоть какая-то крыша над головой.

— Мы тут уже несколько дней, — безнадёжно поясняет та, что помоложе, — сгорело всё, вещи, деньги, мои картины... сгорела моя любимая собака... и мы с мамой бежали, в чём были, прихватив только одеяло и паспорта...

— Одеяло берите с собой, пригодится, — коротко поясгяет Филя, — еда у нас есть.

Устроили обеих в подвале, и собачонка тут же занимает единственную подушку, с которой нехотя спрыгивает кот. Ватник вместо матраса, бодрящая кока-кола. Обе женщины в пуховиках с лисьим мехом на капюшоне, меховые шапки надвинуты на глаза, поллица закрыто шарфом, и кто их знает, кто они на самом деле... Словно догадываясь о нехороших подозрениях фельдшера, та, что моложе, откидывает капюшон, снимает шапку, и её золотисто-русые волосы выбиваются из-под шарфа, ложась волной на плечо. Тут даже фельдшер — чего только на фронте не повидал — притормозил, собираясь уже уйти, многозначительно глянув на Филю: бабёнка на редкость хорошенькая. Нет, не смазлива, но... хороша. Такие не водятся где попало, но исключительно в этих местах, с размеренной чередой времён года, высоким небом, необъятным простором полей. Являясь неотъемлемой частью здешнего пейзажа, эта женская красота неспешно расцветает и так же неспешно увядает, не примеряя к себе ничего чужого, далёкого.

Филя и сам не слепой, что ему подмигивание фельдшера, тем более, что беженка то и дело на него посматривает... нет, он не станет ловить её тревожно вопрошающий взгляд. Может, она вздумает написать его портрет: усталый, невыспавшийся, озябший, нервно взбодрённый кока-колой солдат с пробитым пулей сердцем. Вот-вот, это важно: сердце у него пробито. И чтобы как-то её поощрить — всё же художница — он мимоходом спрашивает:

— Тебя как зовут?

Размотав на шее шарф, она расстёгивает пуховик, там у неё на нитке визитка, на случай, если потеряет паспорт или убьют, и нечего больше к единственной строчке добавить: Лаура.

46

Обе женщины готовы остаться здесь, в подвале, им некуда идти, никто нигде их не ждёт. Но фельдшер намерен отправить их в тыл вместе с ранеными, пусть там с ними разбираются. Только баб здесь, на передовой, не хватает. Обе они, мать и дочь, согласны ехать в чужие места, лишь бы как-то устроиться, выжить. Мать — учительница литературы, дочь — учительница рисования, но школа сгорела, детей растащили укры, кого куда. В доме сгорели готовые к выставке картины, а это ведь несколько лет жизни. Обе ещё не свыклись с потерями, готовые ухватиться за всякую возможность возврата к прежней своей, вполне устроенной жизни. Но как тут поверить в желаемое, сидя в полумраке подвала, подмяв под себя чей-то ватник, прислушиваясь к приближающемуся грохоту взрывов. Пока раздают еду — хлеб, тушёнка и снова кока-кола — солдаты спорят между собой, пролезут ли укры через границу, и женщины уныло подсказывают: они уже здесь, но пока затаились, и скоро их будет много. В спор не вступает только Филя, зная и так, что две тысячи километров границы — как решето, за всеми не углядишь, а ставить забор уже поздно. Тайком прихватывая ломти хлеба и пряча их в карманы пуховика — кто знает, что будет завтра — учительница рисования то и дело посматривает на Филю, он тут, несомненно, главный врач и притом не из простых, с понятием, и даже имя у него особенное, Теофил. Он всегда чем-то занят, к нему просто так не подъедешь. Разве что попросить смерить у матери давление, женщине уже под шестьдесят. И пока надувается манжетка, Лаура спрашивает:

— Тебя кто-нибудь ждёт?

— Мама, она всегда меня ждёт, — едва на неё глянув, поясняет Филя, — для неё я всё ещё маленький мальчик...

— Но девушка... — настойчиво продолжает она, — у тебя кто-то есть?

Пристально на неё глянув, Филя снимает манжетку, кивает учительнице литературы:

— Возможно, я у кого-то есть.

Давление в норме, жить можно ещё долго. Другое дело, как жить теперь Лауре, разглядевшей в усталом солдате свою лучшую, ещё не написанную картину. Остаться в медпункте уборщицей и санитаркой? Бросить мать? И та, словно подслушав мысли дочери — не зря же преподаёт литературу — видит себя одинокой, стареющей беженкой в каком-то чужом городе. Но ради дочери, ради её, быть может, счастья она готова принять и это, наверняка последнее в жизни испытание. Обе они, печалясь, каждая о своём, прихватывают ещё несколько ломтей хлеба, и жизнь кажется чуть светлее, теплее.

Ночью стоит такой грохот, что не может заснуть даже фельдшерский кот,

затаившись под обгорелым ватником. Никто больше не сомневается, что укры уже близко, и фельдшер спешно упаковывает бинты и лекарства, готовясь завтра же отбыть вместе с ранеными в тыл.

Даже в лесу, в шалаше, не было так страшно, ведь этот медпункт — предмет ненависти укров, тем более, что сами они... поляки. У каждого с собой молитвенник, так им сподручнее выносить из домов барахло, прося своего главнокомандующего Иисуса послать им ещё больше велосипедов и стиральных машин, вместо того, чтобы прикидываться Христом. Ни один поляк не допустит, чтобы его заманили в царство не от мира сего, гле нет ни свиного сала, ни даже вышиванок. И каждый лиловый ксендз готов нашептать ватиканскому папе-иезуиту, что никакого Христа на самом деле не было, а был только малость чокнутый, нищий сын плотника из Назарета, побирающийся в окрестностях Генисаретского озера. Поляк знает точно: Польша ещё не сгнила, хотя вонь доходит аж до Лондона, что только повышает в мире спрос на квашеную капусту и польский хрен. И ничего, что какой-то там Фредерик, и к тому же французский Шопен тоже был поляком и сочинил в семь лет свой первый полонез, это не его имеют в виду, называя «Шопеном» международный аэропорт и одноимённый бордель.

Прижав к себе собачонку, Лаура пытается согреться под двумя ватниками, накрывшись с головой. Пришёл с вахты оператор дронов, лёг, захрапел, он ко всему привык. И пока мать тоже спит, Лаура встаёт и выходит из подвала наружу. Всё небо исполосано светящимися следами дронов, и звёзды отступают назад, в темноту, они тут лишние, на них больше никто не смотрит. Перебежав от разрушенного дома к бывшему складу, Лаура нащупывает в темноте дверную ручку, и тут навстречу ей Филя. Вскрикнув, словно пойманная с поличным, она уступает ему дорогу, но он не спешит пройти мимо. И на неё обрушивается, во всей своей удушающей тяжести, немыслимая догалка: он ищет её! В эту сырую ноябрьскую ночь, под прицелом бессонных дронов.

— Тебе что-то нужно? — спокойно, почти ласково произносит он.

— Да... то есть нет... — она умоляюще смотрит ему в глаза, — … конечно, нужно...

Он молча кивает, открывает перед ней дверь. Света нигде нет, но он знает, куда идти, и чтобы не отстать, Лаура берёт его за рукав... берёт за руку. И темнота подсказывает ей, что теперь как раз то самое, звёздное мгновенье... темнота даёт им обоим шанс. Впрочем, Филя видит в темноте не хуже фельдщерского кота, видит к тому же незримое своим пробитым пулей сердцем.

Добравшись до перевязочной, они оказываются возле окна, и отражённый от снега светящийся след дронов то и дело вырывает из темноты настороженный взгляд Лауры. Словно собираясь что-то сказать, она лишь порывисто вздыхает, её томит это ожидание неизбежного, или ей просто всё это кажется...

— Ты так красива сейчас, — спокойно произносит Филя, — когда ты взволнована и тебя одолевает страсть, ты на редкость красива...

Вот оно, недвусмысленное признание, а дальше... дальше... Она обнимает его за талию — он намного выше её — кладёт ему на плечи ладони, и поднявшись на цыпочки, касается губами его небритой щеки. Он знал, что так и будет, как только увидел её, но должно ли так быть...

— … но твоя красота изливается из темноты инстинкта, — спокойно продолжает он, — твой глаз смотрит на внешнее, вполне довольствуясь только этим, так пишешь ты свои картины.

— Я стану, вот увидишь, известной, — её ладонь пробирается за ворот его давно не стиранной рубашки, — меня уже приглашали на телевидение, мои картины выставлены на продажу, тебе это наверняка интересно.

— В самом деле, — охотно соглашается он, — почему бы и нет.

— Но мне ведь хочется иметь семью, детей, — она пытливо ловит его взгляд, — и ты мне сразу понравился, ещё в лесу...

— Но хочешь ли ты, чтобы мы говорили с тобой на одном духовном языке?

— На каком ещё языке? О чём ты? — невольно отстраняясь от него, недоверчиво произносит она, — Мы ведь оба говорим по-русски, но я могу и по-английски...

— Когда мы оба, ты и я, умрём, переступим порог смерти, — терпеливо поясняет он, — мы, конечно, найдём друг друга, но ты не сможешь мне ничего сказать, ты будешь словно немая, и это будет для тебя мучением и болью. А если ты умрешь первая, а я останусь пока здесь, ты вообще не сможешь меня отыскать, я буду для тебя словно стёрт, и твоя тоска по мне окажется для тебя невыносимой...

— Что ты такое несёшь? Ты просто морочишь мне голову, а может... — она подозрительно на него смотрит, — … может ты и не мужчина!

Оба прислушиваются: стрекотание подлетающего дрона, меткий выстрел охранника. Так холодно, так темно.

47

Войдя в разношерстное, левые-правые-всякие, правительство, гитлеровские иноходцы тут же выставляют напоказ свою задиристую программу: никаких военных союзов, никакого европейского колхоза, никаких мигрантов. Зато теперь им нужен вечный с соседом мир, стоящий на том, что местный Рюрик в своё время отстроил Киев и Новгород, заодно пройдя по днепровским порогам до самого Черного моря, тем самым очертив контуры будущего великого царства. Тут ничего уже не поделаешь, русские несут в себе этот северный ген, единственно и удерживающий их от въедливой азиатской

сонливости. Никто не звал Рюрика на берега Днепра и Дона, никто и не противился его дерзким вылазкам на Русь, но рукописной истории непременно нужно обмакнуть перо в кипящее воображение: «Придите и правьте нами». Только ведь история пишется не чернилами и даже не кровью, но... духом, незримо стоящим за видимостью событий, незримо пронизывающим собой неразбериху и бестолковость, ничтожность великих побед, благо катастрофических поражений, пустоту громогласных слов. Столько умных людей шляется повсюду, не подозревая о том, что вокруг них и в них самих без устали трудятся куда более высокие, чем они сами, существа. И это они, незримые, поддают истории жару, ведя её сквозь путаницу недомыслия и тёмных страстей, вписывая её в вечную небесную хронику.

Среди тех, кто об этом сумел догадаться, был Гитлер, а его крайняя бедность, одиночество и неустроенность только усиливали его интерес к незримой подоплёке происходящего. Ему повезло, он встретил в Вене тех, с кем можно было поговорить о Граале, о кровоточащем копье, убивающем возвышенные стремления, о странствующем по низинам жизни Парсифале. Он встретил в Вене тех, кто готовился уже тогда внимать истинам духовной науки, он мог бы стать одним из них. Однако к нему самому присматривались те, кто ещё до начала мировой войны строил планы послевоенного устройства Германии, за ним наблюдали, его изучали, на всякий случай даже собирали компромат, попросту выдумывая подходящие для скандальной огласки истории. Им было вовсе не безразлично, куда двинется мир сразу после войны, откладывать которую было уже нельзя. Им нужен был тот, кто безусловно был лучше других, имея самые возвышенные, какие только могут привидеться австрийцу, идеалы, чьё трудолюбие и честность могли бы поставить в тупик любого социалиста. Но не только это: они искали особые, редкие способности, и молодой ясновидец Гитлер оказался для них желанной находкой: им можно было завладеть изнутри.

Его заметили иезуиты.

У них ведь всегда есть план, о котором никто в мире не знает, план всеобщей мобилизации под водительством генералиссимуса Иисуса, больше уже не нуждающегося в принятии в себя Христа. Иезуиты слишком умны, слишком учёны, чтобы идти, у всех на виду, по трупам, их жертвой становится нечто необычное, изысканное, редкое, и эту жертву иезуиты вычисляют с точностью до градуса и минуты.

Переползая из одного учебника в другой, история мнит себя той беспристрастной истиной, с которой не торгуется даже порядочность короля и президента. А тут какие-то необъезженные иноходцы намерены раскрутить историю в обратном порядке и хорошенько её проучить за разные такие штучки, вроде того, что Гитлера вытащила на свет дикая инфляция и позор военного поражения. Хотя и с опозданием, истории придётся это усвоить:

Гитлер пришёл из самых глубоких устремлений пока ещё не собравшейся с духом германской души. Воспитание души на её подступах к духу всегда

трагично, и тот, кто решается на это, рискует остаться ни с чем. Но у немцев есть Фауст, есть устремлённость к тому, чтобы стать, а не только быть. То, о чём размышляет полуслепой после английской газовой атаки Гитлер, делясь в нетопленной каморке последней крошкой хлеба с такой же голодной, как и он сам, мышью, эти его прозрения вовсе не сулят ему долгую и счастливую жизнь, но только лишь поражение, вплоть до потери своего имени. Он видит триумф своей воли, отзывающийся эхом военных парадов, видит свой обгоревший труп...Кровоточащее копьё Грааля настигает его идеальные устремления, выявляя прокравшуюся в них слабость: он поставил идеал выше свободы, он сам служил такому идеалу. И это в тот момент, когда к немецкому сознанию, к немецкому сердцу приблизилась духовная наука, наука Грааля, наука свободы и любви. Он разминулся с ней, подхваченный триумфально сверкающим, парадным великолепием Люцифера, этим неумолимо властным течением, несущим его самого на рифы... Он видит, как пилот Гесс летит с мирной вестью к англичанам, как те держат его полвека в тюрьме, так и не сумев смутить его осенённый духовной наукой разум. И этот Гесс утешает, как может, уже умершего Гитлера, обращаясь к нему на языке тайноведения.

История забудет об этом, проскочит мимо. И пока мышь доедает в промерзшей каморке чёрствую корку, где-то вдали, за порогом смерти, расправляет свои могучие крылья птица Феникс...

Но что же иноходцы видят сегодня? Видят одни только руины, видят самих себя нищими и бездомными, видят торжество ухмыляющегося врага. Они ведь вовсе не политики, эти иноходцы, они работяги, их не заразили в университетах вирусом всеядной толерантности, и теперь с ними заодно королева, она ведь тоже в своём роде иноходец, эта Лаура.

Номер первый среди иноходцев, единогласно избранный фюрер, явился у Лауре незвано, желая застать её врасплох и тем самым проверить, так ли ей иноходец по нутру. И оказывается, что так... ещё как по нутру. Предложив фюреру пообедать, Лаура признаётся, что суп сварила сама, а остальное принёс из дома один из её двенадцати охранников, и обычно они обедают все вместе, сидя за круглым столом. Эти двенадцать — её королевская семья, её братья. Но на этот раз с ней за столом только фюрер, хоть он и явился незваным.

— Зачем тебе этот университет? — с ходу начинает он, — Этот твой замок Грааля, вызывающий недоумение прохожих, пугающий слабонервных. Все привыкли видеть тебя, машущую с балкона белой перчаткой, а теперь на балконе — увитый розами крест, будто ничего другого нельзя и придумать.

— Кому надо, тот понимает, — непринуждённо поясняет Лаура, плеснув ему в тарелку немного бараньей похлёбки, — а кому не надо, пусть проходит мимо. Мне, что, равняться на недоумков? Ждать, когда они поумнеют? Я никого за собой не зову, но я ведь кое-что всем показываю, и каждый пусть сам решает, куда ему надо. Что раньше было тайной, теперь обращено ко всем: жить не только с внешними вещами, но и с их внутренней сущностью.

Думаешь, твой Гитлер об этом не знал? Ещё как знал, с его чистосердечной устремлённостью к столь редкой теперь порядочности. Знал, что немцы — народ сердца, золотой середины, этого внутреннего солнца, поэтому так много у них врагов. Много врагов у того, кто сознательно смотрит в глубину, соотнося её с лежащими на поверхности симптомами. Таких, смотрящих в корень, демонизируют, уничтожают. Но выбора у нас нет: либо мы начинаем понемногу учиться жить в духе, либо всем нам конец.

— Хочешь сказать, что этот никому не понятный Грааль и есть спасение от надвигающегося на мир хаоса? Ведь даже римский папа об этом молчит, хотя кому как не ему знать... ведь знает же он, как выглядит, к примеру, ад: выжженная пустыня, где не с кем перекинуться словом...

— Лично для него именно так и будет обстоять дело после смерти: одиночество и отшельничество, невозможность контакта даже с теми, кого он при жизни знал, — охотно поясняет Лаура, — и всё потому, что сейчас папа — всего лишь должность, не только не требующая понимания Мистерии Христа, но всячески этому препятствующая, так что из прожитой жизни папа не выносит за порог смерти те душевные силы, которые как раз и необходимы для посмертного общения с другими умершими, тем самым оказываясь в мучительной пустоте.

— Да кто её, эту Мистерию, сегодня понимает? Кому есть до этого дело? Мои ребята, к примеру, в большинстве своём не считают себя христианами, стоит только взглянуть на их татуировки... — он сдержанно усмехается, — на эти языческие символы, смысл которых никому уже не ясен, и даже мне... — он вопросительно смотрит на Лауру, — а тебе?

— Тот древний германский Вотан, в которого вроде бы верят твои иноходцы, нисколько не противоречит Христу, хотя и стоит на более низкой стуцпи сознания, изживающего себя в природных явлениях: молнии, громе, ветре... Вера в Вотана эгоистична, это вера одних только германцев, включая древнее прогерманское славянство, и то, что питает сегодня всякий национализм, как раз и есть эта эгоистическая, нехристианская вера, будь то прогорклый католицизм или сонное православие. Пошлая вера в исключительность своих материальных интересов, в свою победу над столь же эгоистичным соседом. Поэтому мы и не можем сегодня избежать войн, мы вынуждены вести их до конца, да упора в следующую войну. И чтобы выйти из этого тупика, нужно достаточное количество людей, понимающих Мистерию Христа, и мой университет Грааля как раз для того и нужен.

— Но Гитлер, не будучи христианином, сумел в течение нескольких месяцев поднять немцев из нищеты и грязи, дать им сознание общности...

— Гитлер слушал в Вене оперы Вагнера, которые ведь вовсе не оперы, но одна сплошная христианская месса, великая месса Грааля, и сам Гитлер был посвящён в эту христианскую тайну воскресения из пепла, в тайну Феникса, в тайну копья и чаши Грааля. Кто не понимает Вагнера, сказал он, тот не понимает национал-социализм. Но ведь Вагнер — это тоска по Граалю, это путь Парсифаля, «странника через низины», к неэгоистическому идеалу, так

что «низины» национал-социализма перерастают «чисто немецкое», делаясь школой для всех. Школой преодоления эгоизма, как личного, так и национального. И даже сейчас, когда от Германии осталась одна только экономика, обслуживающая маленький, паразитический Израиль, немцы только того и ждут, чтобы то, что превыше всего — а это ведь восходящий ко Христу германский дух — сделалось золотой серединой Европы.

— Не каждый немец решится в этом признаться, а тем более, произносить такое вслух. Ведь Гитлер «назначен» величайшим преступником, абсолютным символом зла, назначен без права на какие-либо оправдания, назначен теми, кто подменяет живую, подвижную реальность набором мёртвых, куцых, пошлых определений.

— С этим ничего не поделаешь, люди охотно верят расхожему мифу, это удобно и безопасно. Те же, кто эти мифы сочиняет — так называемое мировое финансовое еврейство — открыто объявили Гитлеру войну еще в тридцать третьем, для начала бойкотируя по всему миру немецкие товары. Они же потом, эти усердные сочинители, придумали крайне успешный миф о шести миллионах, позволивший им и по сей день качать из Германии миллиарды. С их глобалистской точки зрения, самым большим гитлеровским злом был полный разрыв со всемирным еврейским банком, переход на окрепшую немецкую марку. За такие штучки мы ведь и сами превратили в пустыню цветущую Ливию, посмевшую ввести в оборот золотой динар вместо глобального доллара. Мы, глобалисты.

— Коль речь идёт только о деньгах, зачем сегодня повсеместно запрещать изображение древней языческой свастики, запрещать древнеримское приветствие «от сердца к солнцу»? — наступает на Лауру иноходец.

Молча на него уставившись, Лаура словно что-то припоминает, что-то известное только ей. Но стоит ли делиться этим с другими, когда слова для этого ещё не созрели...

— С некоторых пор немцы стали очень мещать антихристу, в его великом плане остановить развитие земли, — издалека начинает она, — ведь немцы с особым пристрастием всматриваются в собственную душевность, превосходя в этом правящих морями англичан, и именно немцы и приносят в мир духовную науку, позволяющую сознательно постигать Мистерию Христа. И каково антихристу всё это наблюдать? Надо срочно принимать меры, подключая к делу те силы, которые и раньше избегали встречи с Христом, ограничиваясь умершим на кресте плотником Иисусом. Такой силой как раз и является Ватикан, само существование которого всецело зависит от «мира сего». Они-то, в Ватикане, знали, куда ведёт немцев их идеалистическая философия, их кристально чистая венская классика, их буйно расцветающий романтизм: всё это вело, увы, к осознанию присутствия в каждой душе солнечной силы Христа. Как раз это и следовало истребить, подменив чем-то очень немцу близким, живым, встроенным в саму немецкую душу: бессознательным переживанием развивающегося органа духовного восприятия, свастики. Пусть немцы и дальше носятся со своими древними

германскими мифами, восторженно присягая Зигу, пусть сбиваются в грозно «зигующие» стада, рвущиеся навстречу своей же смерти... но ни один из них не должен при этом знать, что Зигфрид-Зиг несёт в себе солнечное предчувствие Христа. Взнуздать немца его же волей к бескомпромиссному поступку, направив эту волю на растление Германии. Так, под иезуитским крылом Ватикана, было задумано восстановление священной римской империи, теперь уже Третьего Рейха, оплачивающего покровительство папы всего лишь... запретом духовной науки о Христе. И кто же, как не иезуиты, с их изощрённой, безжалостной дрессировкой воли, неминуемо ведущей к «хромоте на голову», понадобились Ватикану для воспитания немцев в духе парадной стадности? Иезуитский ораторский гений Геббельса заглушил вагнеровскую песнь о Граале, оставив немцев ни с чем. И это в то время, когда иезуитская Польша, сойдясь в своём неприятии Христа с масонской Британией, подточила и до того шаткий в Европе мир. В году тридцать девятом повторно явился Христос, видимый лишь душевно, но людям было уже не до этого, всем хотелось лишь воевать. Ватикан не ошибся: сознательно не прогретая солнечностью Христа, свастика бодрит, восхищает, опьяняет немца, оставляя его в неведении относительно себя самого, своего обращённого к Христу, солнечного «Я». Эта магическая, древняя свастика! Даже американский проходимец Лео Троцкий, перехвативший у Ленина власть, распорядился изображать свастику на красноармейских шлемах и денежных купюрах, надеясь тем самым поднять настроение в своей бандитской армии. Но в силу своей сонливости русские остались равнодушны к магическому знаку и вовсе его не заметили. Пока дишь только у немцев свастика вертится во лбу, чуть выше бровей. Но кто же склонен сегодня вникать в эту драму немецкой души?

— Хочешь сказать, что Гитлер проявил слабость и уступил куда более опытным, чем он сам, ватиканским иезуитам? И те его попросту надули, жирно смазав еврейскими миллионами?

— Гитлера выкупил из тюрьмы католический епископ, и даже став «народным канцлером», Гитлер оставался под неусыпным надзором иезуитов, ухитрившихся даже нащупать ганглии его солнечного сплетения... они же, иезуиты, отменные ученые медики. Они завладели его телом, изнуряя его сверхчеловеческим жаром красноречия, и многое из того, что они сумели внушить фюреру, не шло в разрез с истиной. Иезуит не отворачивается от истины, но ведёт дело к тому, чтобы вывести её из обращения. Иезуит никогда не говорит о космическом Христе, но только об Иисусе как о земном царе и полководце, которому иезуиты и служат. Именно таким, всецело поглощённым приготовлениями к войне, они и желали видеть фюрера, у Гитлера не было выбора, война была близка и неизбежна. Но те же самые еврейские банкиры давали взаймы Сталину, на его индустриализацию, на производство пушек, и Сталин знал точно: войне быть. У Сталина как раз-то и был выбор, как был выбор у последнего русского царя: вступать в войну с Германией или не вступать. Но «вождь народов» даже не заметил, как собственное еврейское правительство виртуозно повязало его с наихудшим

его врагом, англичанами, и уж тогда пути назад не было. Англичане-то знали, что, уничтожая Германию, с Гитлером или без него, русские лишают себя необходимого им духовного питания, вынужденно перестраиваясь на чуждый и вредный для себя англо-американский, посюсторонний, меркантильный порядок. Послевоенный лунный германский пейзаж, с руинами классической архитектуры и свалками трупов, отозвался для русских куда большими потерями, чем для самих немцев. Даже укрывшись за железным занавесом, русские все больше и больше ощущали отток духовных сил, ощущали свою неспособность их удержать. Окажись Гитлер победителем, русские пели бы свои русские песни, учили в школах русский язык, ходили в православную церковь. Но победителем стала, прикрывшись тупостью Сталина, пустая, нахрапистая, жадная до чужого Америка, планомерно уничтожившая как самого Сталина, так и вверенное ему государство. И сегодня мы пытаемся добить оставшуюся от бывшей империи Россию, отрывая от нее кусок за куском, попутно демонизируя национал-социализм, называя его то нацизмом, то фашизмом...

— Я сразу сказал своим ребятам: не суйтесь воевать за Киев, это всего лишь семейная разборка, обойдутся без нас, и никто так и не пошёл, вовремя смекнув, что украсть наши древние германские символы, вовсе не значит быть с нами заодно. Все эти украинские «нацисты» — попросту ничтожная карикатура на недоступную их пониманию реальность. Они не наши, и мы не с ними, мы скорее поддержим русских, восстанавливающих свою прежнюю империю. Но нас вынуждают работать на эту, не нужную нам войну.

— Мне хватит ста человек, чтобы поставить новые паруса, — сухо замечает Лаура.

— Ты получишь гораздо больше.

Сидя друг против друга за круглым столом, они слушают, каждый в себе, ровные удары сердца, так и должно быть перед боем.

48

Возвращаясь домой с двумя тёплыми буханками хлеба, себе и домработнице, Кнут видит возле дома спортивную машину с открытым верхом и двух солдат. Что им тут нужно? Один из солдат, похоже, баба, идёт ему навстречу. До этого Кнут видел королеву только в телевизоре, и вот теперь она здесь, и как ему теперь быть...

— Надо поговорить, Кнут, — решительно произносит она, стоя уже на пороге дома, — парень побудет здесь, в машине.

Никто не разъяснял Кнуту, как надо принимать у себя королеву, и он ведёт её на кухню, наливает в чайник воду, режет на доске хлеб. Молча наблюдая за его вознёй, Лаура словно примеряется, с чего начать, и только отхлебнув кофе, требовательно произносит:

— Где Шура? — и уже не так уверенно, — Где Теофил?

Хоть она и королева, Кнут вовсе не обязан перед ней отчитываться, тем более, что и сам он не знает, где теперь его сыновья. Оба разом исчезди, и вестей никаких. Хотя кое-что он, конечно, знает... но докладывать об этом королеве?

Расследование взрыва на авианосце быстро замяли, свалив всё на разгильдяйство морпехов, что охотно подтвердил оставшийся в живых капитан. И не успела посудина затонуть, как Шура начал куда-то собираться, ничего не сказав даже матери. Похоже, он попросту уносил ноги, не желая иметь дела ни с какими дронами, и где он теперь, кто знает... наверняка где-то на Украине, сейчас самое время большой купли-продажи. С Филей дело обстоит куда хуже, он снова на фронте, да и жив ли...

— Это я выясню, — уверенно заключает Лаура, — свяжусь с его матерью.

— С ней давно уже нет никакой связи, — угрюмо замечает Кнут, — и так будет ещё долго.

— Я разберусь, — упрямо произвносит она.

Отодвинув кофейную кружку, она встаёт, протягивает Кнуту руку. Потом, словно передумав, снова садится и деловито докладывает:

— На днях я встречалась с Толстухой, было забавно: мы ведь с ней враги. Сто пятьдесят килограммов жира плюс куча безвкусных тряпок. С таким премьер-министром приятно поговорить о погоде... — она усмехается, — но мы говорили только о продолжении украинской войны. Толстуха намерена утроить и так жирные украинские подачки, загнать в страну ещё больше паразитов, заставив остальных делиться с ними самым необходимым. Сама же Толстуха не собирается меньше есть и только набирает вес, безоблачно вписавшись в отвечающее её аппетиту правительство.

— За ней большинство, тут ничего не поделаешь, — безразлично замечает Кнут, — а за этим большинством стоят те немногие, кто, собственно, назначает президента или премьера, система работает безотказно.

— Тем более, что это большинство сплошь состоит из азиатских и африканских отбросов, открыто презирающих свою новую родину, и Толстуха готова узаконить обязательное для всех изучение корана в школе, обрезание как мальчиков, так и девочек, переделку наших церквей под мечети, выпуск газет и телепередач на арабском... Короче, даёшь тотальный шариат.

— Так скоро и будет, — кивает Кнут, — я бы их просто поубивал.

— Я тоже. Я сказала Толстухе, что не дам хода ни одному из этих законов, заблокирую всю программу, и кроме того, поддержу иноходцев в вопросе о депортации всех, законных или незаконных, афро-азиатских мигрантов. Мы оплатим им проезд, компенсируем те или иные потери, продолжим платить старикам пенсии. Иначе наша маденькая страна попросту задохнётся от вони кебаба... да, и ещё я сообщила Толстухе о моем намерении запретить

однополый брак и рекламу содомизма.

— Почему ты всё это говоришь мне? — пытливо на неё глянув, интересуется Кнут, — Ведь я не политик, я просто пекарь...

— Ты отец Шуры и... — она опускает глаза, — Теофила. У меня же нет ни дедушки, ни отца, ни даже матери, моя семья — верные мне солдаты.

Молча глядя на неё, Кнут кивает.

49

Истина подкрадывается незаметно, когда её меньше всего ждут, и мало кто принимает её за истину. Так уж ей удобнее: быть парадоксальной, увиливающей от схемы и лозунга. Она приходит снова и снова, ожидая признания, она незлоблива. Она — сирота среди царствующих над умами мнений. И даже глядя на неё в упор, не каждый решится признать в ней вызов самому себе.

Окна рабочего кабинета на первом этаже выходят в сад, посаженный ещё монахами, и каждую осень старые яблони роняют на землю свою благодарность времени, получая обратно свежие весенние соки. Столько безгрешных мыслей витает здесь, столько смирения и скромности. Этот монастырь давно уже забыл своё прежнее имя, заброшенный и опустевший, и только дрозды на верхушках елей неспешно рассказывают о бесконечном повторении одного и того же: осень, зима, весна...

Кабинет обставлен тяжёлой старинной мебелью, тут всё на века, всё прочно, и овальное, в золоченой оправе, зеркало ловит отсвет бронзовой люстры и стоящих на подоконниках фарфоровых ламп. Оставаясь в кабинете одна, Лаура словно смотрит издалека на свою беспокойную, у всех на виду, жизнь, уличая себя в желании вырваться из жёсткого королевского распорядка. Придёт весна, зацветёт под окном черемуха, и сердце наполнится тоской о любви, которой никогда ещё не было, которая не здесь, но там, где нет ни рождения, ни смерти.

В кабинет заходит Зигги, озабоченно докладывает: пришёл один из «серых», обыскали, с собой ничего нет. Эти серые тени, беззвучно скользящие мимо, знающие о тебе всё. Никто не смеет задавать им вопросы, но сам ты обязан отвечать, выгребая из себя на самого себя компромат. Как раз они-то, серые, и есть двигательный нерв демократии, её сладкая начинка и приправа.

Осторожно, словно желая оказаться невидимым, серый агент заходит в рабочий кабинет королевы. Он тут никогда раньше не был и не уверен, предложат ли ему сесть, хотя с королём запросто ел тушёную с бараниной капусту.

— Ну? — недружелюбно начинает Лаура, — Зачем явился?

И серый уже отмечает в своём каталоге грехов: невоспитанная и дерзкая. Но это ведь рабочие записи, никто их не видит. В прилично недорогом сером пиджаке, он едва ли обратит на себя внимание даже любителя конспирации, он весь словно соткан из пыли и тени, тени и пыли...

— Наша дорогая, прекрасная королева Лаура! — нараспев начинает он, скромно присаживаясь на краешек массивного, обитого золотистым плюшем стула, — Мы так рады, что монархия по-прежнему процветает, и это вселяет в нас надежды...

— Давай по существу, — перебивает его Лаура, — у меня полно дел.

— Нам стало известно о ваших контактах с крайне правыми, посягающими на основы демократии и распространяющими повсюду свои возмутительные призывы к смене порядка. Мы, конечно, отдаём дань вашей молодости и неопытности, но, Лаура... — он переходит на шёпот, — это же так опасно!

— Знаю, — кивает она, — новое всегда опасно, но я, как тебе известно, солдат.

— Что подумают люди о нашей королеве? Что должны думать мы, обеспечиваюшие монархии её высокий общественный статус?

— Люди устали от пустых королей и королев, в которых нет и не может быть ничего королевского, а что касается вашего серого ведомства, то думать вам вовсе несвойственно...

— Тебя уже испортили эти нацисты, — резко переходя на «ты», сердито произносит агент, — с их агрессивным фюрером, намеревающимся объединить североевропейские монархии в единый рейх и начать дружить с русскими.

— Он так и следает, — уверенно замечает Лаура, — и ждать уже недолго.

— Если ты в самом деле решила огстаться с ними, уже влезшими в правительство, то нам... — он выразительно на неё смотрит, — нам придётся восстановить в правах твою мать, она ведь не настолько глупа, чтобы...

— Чтобы не пристроить своего суперсексуального негра к жирной королевской кормушке, — усмехается Лаура, — моя мать не просто глупа, но феноменально глупа.

— Тебя же, — не слушая её, продолжает агент, — мы отправим на долгую-долгую учёбу в Штаты, откуда ты вернёшься хорошо воспитанной, если вообще вернёшься.

— Есть о чём подумать, — кивает она, — а теперь я занята, собираюсь заблокировать новые законы Толстухи, и ещё кое-что... — она вызывающе улыбается, — поддержать программу иноходцев!

Поднявшись с плюшевого стула, агент брезгливо жмёт её руку, и серая должностная улыбка трогает на миг его пустое лицо.

50

Перед зданием правительства не развернуться даже инвалидной коляске: прямо у входа поставлены раскладные столы, на них кофейники и бумажные стаканы, и мёрзнущие на ветру зеваки толпятся возле самодельного плаката: «Лаура, спаси нас!» Все и так знают, от чего надо сегодня всех спасать, и знающая об этом полиция держится неподалёку, заодно выгуливая двух овчарок. Помимо этих зевак есть и другие, куда более нетерпеливые, и тоже с самодельным плакатом: «Толстуха, убирайся!» Их теснит из-за угла смачно воняющий кебабом мусульманский отряд, без конца скандирующий одно и то же: «Это наша страна!» Им вторит несколько простуженных глоток из антирасистского центра, целевого продукта серого ведомства: «Нацизм не пройдёт!» И словно безмолвное предупреждение, чуть дальше, в переулке, дежурят со своими руническими флагами иноходцы: сегодня их день, сегодня фюрер идёт в наступление.

Внутри же здания, где никогда не бывает ни сквозняков, ни бурь, где каждому гарантирован бесплатный кофе и мягкий стул, теперь тревожно: время приближается к своему концу, а дальше — один только ужас и страх. Время самоустраняющейся демократии. Все привыкли к тому, что всё идёт как надо, и надо только больше того же самого, а тут... какая-то там королева, привередливая дворцовая мышь, не признающая своего места за печкой. И безропотно поддакивающая ей конституция словно глумится нал правом большинства вить их меньшинства веревки. Большинство же, а это теперь глобальный клуб по интересам, ни разу ещё не наделяло указанную в паспорте личность ничем, кроме номера, тем самым сводя на нет малейшее шевеление самосознания. А тут, как назло, в руке у королевы поводья, под седлом — иноходец, так, глядишь, и доскачет...

Фюреру иноходцев ещё не приходилось стоять лицом к лицу с таким избранно сытым собранием, где что ни баба, то мужик. Он не заучивал наизусть эту речь, у него нет при себе ни конспекта, ни даже плана, он выпрядает её из себя, словно шелкопряд свою нить, от сердца к солнцу.

— Поскольку экономика — это единственное, о чём тут постоянно говорится, — непринуждённо начинает он, — мы предлагаем отдать экономику самой себе, сняв с неё любые политические узы, пусть живёт лишь по своим экономическим законам. Эти законы вырабатываются только на практике, а то, что спускается сверху, и есть то самое желаемое, что редко совпадает с действительным. Основным законом производственной сферы, больше уже не насилуемой политикой, должна быть товарищеская взаимопомощь: каждый работает не для себя, но для всех. Природа дала уже нам прекрасный образец такого неэгоистичного труда: пчелиный улей, где каждая рабочая пчела собирает нектар и производит в себе мёд вовсе не для себя — рабочие пчёлы не едят мёд — но только на благо всего улья. Так становится ненужной обычная сегодня конкуренция, уступая место доброжелательному сотрудничеству, и, если кто-то просто подгребает под себя ресурсы, будучи

неспособным ими правильно распорядиться, ресурсы безболезненно переходят к другому, согласно правовому принципу равенства всех перед законом.

— Полная чушь! — возмущённо кричат из зала, — Производство без конкуренции? Взаимопомощь? Никто на это не пойдёт! Никогда!

— Всё дело в уровне сознания, — спокойно возражает фюрер, — и сегодня оно чуть выше животно-стадного и сводится к примитивной борьбе за существование. Разве вы не заметили, что чем больше мы выкачиваем из земли ресурсов, тем беднее становимся сами, работая попросту за еду. Мы называем это благоденствием, таково наше сегодняшнее сознание. И почему это так? Только потому, что все наши интересы ограничиваются материальным, мы не желаем ничего знать о самих себе, о нашей человечности. Именно поэтому сфера так называемой культуры должна стать сферой свободы, должна расстаться с любыми экономическими и политически-правовыми претензиями, посвятив себя исключительно вдумчивому изучению душевно-духовной конституции человека, черпая из этого правовые и экономические принципы. Такая триединая социальная система — культура, производство, право — должна служить только одной цели, освобождению человека от животности.

— Что вы слушаете его? — кричит в микрофон готовая взорваться от ярости академическая звезда фрейдовской психологии, — Он же нацист, фашист... — звезда захлебывается от напора бранных слов, — террорист! Он хочет отнять у нас лучшее, что мы имеем, нашу животную сексуальность, вытесняя её монашеским набором каких-то там высших, нигде и никогда не существовавших принципов!

— И поскольку значительная часть нашей экономики работает сейчас на войну, — невозмутимо продолжает фюрер, — включая прямые поставки оружия на Украину, мы вправе задать вопрос: какой нам от этого прок? Мы требуем безотлагательного выхода из атлантического военного союза, раз и навсегда!

Шевеление в зале, жужжанье, кряхтенье. Никто не намерен вникать в безумную болтовню фюрера, но слова его сами лезут в дыры мозга, как черви в сыр, попробуй их потом выковырни. За одно такое слово следовало бы конфисковывать личное имущество, включая ночной горшок, да что там, сдирать живьём шкуру.

— Мы обороняем самих себя, помогая, чем можем, героической Украине, — уверенно перечит фюреру военно-оборонный министр, — иначе уже завтра русские явятся сюда...

— Мы помогаем не Украине, поскольку это всего лишь одичалая окраина России, но как раз тем, кто вовсе не заинтересован в нашем существовании, — жёстко осаживает его Лаура, — не пора ли перестать изображать дурака?

В солдатской форме, в первом ряду, Лаура вызывает у собравшихся муже-баб одновременно тошноту, понос и икоту, справиться с которыми не в силах

даже Толстуха, с её неизменно растущим в правительстве весом.

— Даже если бы русские этого и захотели, — терпеливо разъясняет фюрер военному министру, — им понадобилось бы всего полчаса, чтобы угомонить нашу оборону, так что вся наша военная суета — пустая трата денег. Наша экономика сама разберётся, есть ли ей польза от русских, и тогда, может, русская треска сама поплывёт в наши сети. Но что же должны делать мы, законодатели, в таком количестве сидящие здесь? Перво-наперво, прекратить любое политическое воздействие на бизнес, даже будучи предпринимателями... — его слова накрывает шторм крайнего возмущения, но он продолжает, — и единственной правовой задачей останется формирование и исполнение законов, содержание которых добывается усилиями наших мыслителей и художников...

В зале смеются, какой всё-таки простофиля этот грозный на вид фюрер, почти как тот Адольф, рисовавший диснеевскую Белоснежку и проект трехкилометрового приморского санатория для рабочих. Опять эта немецкая романтика, эта несбыточная мечта о тихой, без ненависти и страха, провинциальной жизни. А всё, что немецкое — то расизм. Об этом знает лучше других министр культуры, готовый трясти голыми сиськами до тех пор, пока ни у кого уже не останется сомнений: бангла-паки кое-что значит. Знойно обмахнувшись розовым сароном, министр культуры разевает огромный кроваво-помадный рот, и оттуда змеится, перевирая гласные и согласные, приятный для всех мотив:

— Наша многокультурная культура неизменно видит свой идеал в тушёной баранине с капустой, хотя кебаб готов заменить собой и эту нашу национальную слабость...

Аплодисменты со всех сторон, всё наконец-то приходит в норму. И тут, как назло, снова Лаура, у неё королевское право всюду встревать в разговор.

— Сто лет назад была написана сказка, — многозначительно начинает она, — Христос исцелил от недуга сразу троих, одного от проказы, другого от слепоты, а третьего, который был негром, сделал белым.

Зал затихает, словно ожидая прилёта атомной бомбы. Кто-то не смеет даже взглянуть на соседа, опасаясь, что тот уличит его в согласии со сказочным Христом, другие, напротив, готовы искромсать сказочника кривыми ножами своей веры в Аллаха, а среди обычно незаметных свободных каменщиков вспыхивает вдруг догадка: это же шанс выбиться наконец в люди, сделавшись, пусть даже ненадолго, крикливым охвостьем фюрера. Свободный каменщик, этот трудоголик-масон, давно уже исполнил свой рабочий долг перед архитектором мира сего: были разобраны, по камешку и по кирпичику, сразу три монархии, германская, австро-венгерская и русская, был выторгован у турков пустырь под будущий самострой Израиля, был организован кладбищенский стройтрест гулага, была в конце концов открыта лавочка тотальной распродажи всего накануне принудительного закрытия России... Но каменщик, увы, по-прежнему трудолюбив и готов браться даже за мелкие делишки, вроде закрытия границ или разноса птичьей и свиной

заразы. И если пристроиться сейчас к бьющим копытом иноходцам, можно ведь доскакать и до финища, а уж потом отправить скакунов на бойню. И теперь главный каменщик готов напроситься в прорабы ожидаемой новостройки, чтоб лично самому замуровывать в стенах всё то, что пока ещё живёт.

Тайное голосование — за фюрера или за Толстуху — начинается сразу после перерыва на ланч, и вот уже всем, включая возмущённого Зигмунда Фрейда, ясно: по-старому уже не будет. У коллективного бессознательного нет больше никаких шансов оставаться тайным, его выворачивает наизнанку солнечный луч сознания. Пристроившись в последний момент к иноходцам, свободные каменщики оказываются на финише первыми, бесцеремонно спихнув Толстузу с уже нагретого её задом стула. Они-то, каменщики, знают, что фюрер куда хуже Толстухи, но всему своё время. Для пользы общего дела масон расцелует хоть самого антихриста.

Выйдя на площадь, Лаура встречает своих охранников, и с разных концов слышатся крики: «Королева Лаура!» Ранний предзимний вечер приморaживает к рукам плакаты, продрогшие на ветру полицейские ждут окончания смены. Из переулков, ведущих на главную улицу, неспеша выползают разгоряченные кебабом оравы подростков, готовых поддержать слаженным воем зависший в морозном воздухе призыв: «Это наша страна!» И мёрзнущий без вида на жительство украинец кутается в потрёпанный цианисто-жёлтый флаг.

Солдатам уступают дорогу, тут рядом казарма, но им надо теперь не туда. В самом конце проспекта их ждут возле королевского дворца солдаты Грааля.

51

Холод приходит туда, где нет уже никакой надежды, приходит как неподсудная, незыблемая власть. И тогда уже поздно оглядываться на так и не состоявшиеся оттепели, на их обманчивую доступность и близость, но ведь есть ещё и самое из последнего последнее: смирение. Вот приближается к Христу готовый к предательскому поцелую Иуда, и навстречу ему с безграничной нежностью и любовью звучат слова: «Что же ты делаешь, Иуда?» Смирение — одна из великих космических сил, удерживающая материю в её твёрдости и постоянстве, и земля смиренно выжидает, когда наконец ей будет позволено снова стать солнцем. «Солнце, — думает Филя, замерзая под двумя ватниками, — оно давно уже здесь, во мне, когда снаружи темнота и холод, оно неистребимо и неугасимо, оно и есть моя нерождённая, неумирающая суть...»

Подходит фельдшер, толкает в бок: там снова раненый, дополз сам, еле дышит. Может, это последний из тех, кого накрыло в окопах, остальным уже не подняться. Провозившись с раненым остаток ночи, Филя достаёт из

рюкзака завёрнутую в полотенце «умную» бабочку. Ту, что сидела на балконе у принцессы, танцевала в воздухе над вьющейся розой. Она одна такая в мире, и никому не известен её секрет. Сейчас она рванётся в кромешную тьму, отыскивая в припорошенных снегом полях тот самый окоп... Ну же, лети!

Петляя в морозном воздухе, бабочка несётся против ветра, и вот она «видит»: один из трупов на дне окопа всё ещё прижимает к себе пакет с луком, должно быть, последнюю свою еду. Сев на обсыпанное снегом плечо солдата, бабочка светит в окоченевшее лицо, и тут один глаз нехотя открывается... Но бабочка летит уже обратно.

— Схожу, посмотрю, что там, — коротко докладывает фельдшеру Филя.

— Пойдёшь по минному полю? — недовольно ворчит фельдшер, — Ты нужен мне тут, вон сколько работы...

— Собака разнюхает мины, — успокаивает его Филя, — не подорвусь.

— Какая ещё собака?

— Вот эта, — Филя тычет пальцем в себя, — не подведёт.

Не слушая ворчание фельдшера, он отправляется один в темноту. Идёт неспеша, прислушивается, фронт совсем близко. В этой земле полно пока ещё не вырытых сокровищ, ради которых сюда и прут мародёры со всего мира, заранее облизываясь на жирный кусок. Но что, если не достанется?.. если зароют самих? В это не верит ни один поляк, а тем более, британец, и все они теперь стреляют, стреляют... Спрыгнув в окна на лежащие трупы, Филя отыскивает того, с луком, ощупывает, где ранен.

— Я тут третью неделю без жратвы и без воды, — еле слышно шепчет тот, — почти уже сдох...

Филя молча взваливает его себе на плечи, и собака осторожно ведет их по минному полю.

Ран на теле новоприбывшего не оказалось, ни одной, и с аппетитом полный порядок. Его матери уже сообщили, что он погиб, и теперь он звонит ей, ну прямо как с того света. И никто никогда не узнает, откуда взялась среди зимы согретая солнцем бабочка.

52

На этот раз фельдшер забеспокоился всерьез: за Филей … пришли. Это может означать только одно: он что-то такое натворил. Двое солдат молча позволяют ему собраться: документы, зубная щётка. И уже перед отходом один из них уточняет, что ехать теперь в Москву, в какое-то там посольство.

— Что-то с отцом, — на ходу бросает Филя фельдшеру, — скоро вернусь...

Но фельдшер только тревожно смотрит ему вслед.

В поезде с Филей остается один из солдат, он тут же лезет на вторую полку отсыпаться, так ничего и не сказав. Впервые за много дней можно спать в тепле, не слыша визга и грохота снарядов, не тревожась о том, что тебя, спящего, чем-то прихлопнет. Это же такое счастье, ехать на поезде в Москву, а было бы ещё лучше — к себе домой. Горячий чай, в тонком стакане с подстаканником, с кусочком лимона, такой только в русских поездах. И что бы там завтра не случилось в этом посольстве, сейчас ясно одно: судьба иногда делает перерыв в своих испытаниях.

Он заходит один за ворота, солдат остаётся снаружи. Дальше уже другая жизнь, другие господа, вкусы, запахи. И хотя он в военной форме, пахнущей потом, порохом и кровью, его вежливо пропускают в закрытую для посетителей зону. Здесь что-то вроде отеля, собирающего на рождество тоскующих по родине студентов и прибившихся к посольству местных, голодных до чужой культуры крыс. Дойдя до нужной двери, Филя сначала осторожно стучит и уж потом берётся за медную ручку. Смотрит на пушистый на полу ковёр, смотрит на стену с портретом какого-то короля, и прямо перед ним вспыхивает снежно-белое пятно античной греческой туники. Тонкие мускулистые руки, прямые плечи, перевитые жемчугом черные волосы.

Лаура.

Оба молча смотрят друг на друга, и расстояние между ними нисколько не сокращается, позволяя каждому обдумать первый шаг. И только так, свободно, изъявить свою волю.

— Здесь мы можем вступить в брак, — уверенно произносит Лаура.

Пристально на неё глядя, Филя молчит, он всё ещё там, в заваленном трупами окопе...

— Мы никогда не говорили об этом, — наконец произносит он.

— Мы только об этом и говорили.

Молча взяв его под руку, Лаура прихватывает со стола венок из белах роз, надевает себе на локоть.

— А ты и так хорош, — деловито заключает она, — в камуфляжной форме, от тебя пахнет войной.

В конторе их поджидают две секретарши и принаряженный, в белой накидке, священник. Он-то как раз и обязан возвестить миру о чудовищном решении королевы Лауры, замахнувшейся на подрыв столь прочно стоящей на страхе перед соседом, ненависти ко всему русскому. Проклиная свою незавидную роль пособника этой вопиюще наглой, трагической авантюры, священник привычно бормочет полагающиеся формулы, и только дойдя до прямого, в лоб, вопроса, с последней надеждой смотрит на Филю: скажи, скажи «нет»! Филя, однако, с этим не торопится, будто всё идёт как надо, пристально смотрит королеве в глаза.

— Я беру тебя, Лаура, в жёны, как в этой земной жизни, так и в той, что будет после смерти.

— Я беру тебя, Теофил, в мужья.

Обе секретарши не смеют на него глянуть, он же воюет против их страны, против всей Европы, против героической Украины, заслоняющей собой даже Америку. И что же теперь?

Что будет с комфортной верой в абсолютное, со стороны русского соседа, зло? Что станет с американским стриптизом самой этой войны? Куда свернёт давно уже бесколесная колымага монархии?

Сложив вчетверо свидетельство о браке, Филя суёт его вместе с другими документами во внутренний карман, осталось только позвонить матери.

У неё там, в Белогорках, своё: почти каждый день налёты «мошкары», школа разрушена, в доме холодно и темно, и если не уехать сегодня, завтра будет поздно. И то, что Филя вдруг на ком-то женился, не слишком важная для неё новость: сейчас бы только выжить, уцелеть.

Запах роз и лавандовых свечей, королевский ужин. В этих дорогих апартаментах есть душ, это же такая роскошь! И эта широкая, чистая постель.

— Через три часа мне надо быть на вокзале, — скромно напоминает он.

— У нас много времени, — Лаура бросает ему свой банный халат.

Он знает, что это судьба, и её силы намного превышают его собственные.

53

В поезде ему снится всю ночь одно и то же: он идёт с Лаурой вдоль поля. Широкое, до горизонта, поле ржи. Тут есть тропинка, и где-то рядом призывно кричит перепел, и ему вторит издалека другой. Они идут неспеша, пока ещё не зная, куда, и он первый видит блеснувшую на солнце поверхность воды. Это же то самое озеро, где он любил плавать в детстве, оно здесь, совсем рядом. И пока они идут, озеро становится всё шире и шире, подбираясь к самой тропинке торопливой, на ветру, рябью, прибивая к берегу рыбацкий баркас. Оно вовсе не спокойно, это раздавшееся вширь озеро, и рыбаки вот-вот потеряют улов, оказавшись вместе с перевернутым баркасом среди серых, тяжёлых волн. Но надо идти дальше, тропинка становится прочной каменной дамбой, и всюду теперь вода. Медленно поднимаясь на скальный массив, оба смотрят вниз: каменистый берег, греющиеся на солнце огромные черепахи... это же так красиво! Поднявшись еще выше, они видят стаю похожих на лебедей птиц, ныряющих, плавающих, то и дело взлетающих, но это не лебеди, нет, они слишком крикливы и наседают друг на друга... надо подняться ещё выше, увидеть, что там...

Свернув за выступ скалы, Лаура внезапно исчезает, и стая птиц шумно поднимается от воды и несётся прочь, и сам он, готовый добраться до скального выступа, теряет под ногами опору... Тропинка становится всё уже и уже, каменистая почва превращается в скользкую жижу, отовсюду заливаемую мелкими ручейками, и сам обрыв готов уже сползти вниз, в несущийся среди камней поток. Едва удерживая равновесие, он пятится назад, ему уже не добраться до выступа скал, за которым исчезла Лаура.. Но и назад теперь нет дороги, сплошное месиво воды и камней, течение ручейков сбивает его с ног... Неужели конец? Отчаяние заставляет его карабкаться из последних сил по камням, против нарастающего течения, ещё немного, и панический ужас отнимет у него остаток воли... Он видит: что-то движется ему навстречу... двухместный открытый грузовик. И нет никаких сил бежать, дать о себе знать, грузовик вот-вот проскочит мимо, и неважно, куда он несётся по набухающему водой бездорожью. Успев вскочить на ходу на низкую ступеньку, он усаживается рядом с шофёром, и они несутся по воде и камням с такой скоростью, что машина готова уже рассыпаться на куски... Но нет, доехали. Это как раз тот берег озера, откуда и началась страшная прогулка, и множество людей деловито снуют туда-сюда, нисколько не интересуясь прибытием ещё одного. Только теперь, стоя на твёрдой почве, под крышей смахивающего на гараж строения, он вспоминает о Лауре. Она там, в неизвестности, и ещё ведь не поздно... он хватает за руку первого встречного, надо скорей туда... Но все только спешат мимо, даже не глянув на просящего, даже не слыша его слов, и он понимает наконец, что это не его мир.

Есть ещё много кристально чистых, алмазно твёрдых слов, в которых солнечно живёт истина, есть готовые её высказать сердца. Она живёт, эта истина, ради Европы и может ужиться лишь в ней. Но чтобы быть услышанной, истине нужен покой, тот самый, что приходит на пепелище вместе с прорастающими сквозь пепел нежными побегами. Давая губить себя сладкой мечте о всеядной демократии, Европа дрессирует свою толерантность изысканной порочностью лжи, сжигая ранее несгораемое, свой солнечный христианский фундамент. Его больше нет, зато есть уверенность в неизбежности самоистребления, и нет поэтому ни у кого тяги считать самого себя чем-то большим, чем только втиснутым в границы кожи телом. Уткнувшись в чувственный хаос, беспомощно увязая в почвенной сиюминутности, мысль теряет свою связь с питающей её звёздностью, сходит на нет, усыхает, крошится... да вот её и нет, нет больше никаких мыслей! А там, где нет мыслей, нет также и уха, способного слышать истину. Глухая, безумная, гниющая Европа. Но истина вовсе не в том, что это — болезнь к смерти. Великолепие этого самосожжения состоит в неотвратимой устремлённости Европы к самой себе: прорасти сквозь пепел живыми звёздными письменами.

Пока поезд несётся в сторону фронта, оставляя встречному ветру тревожные гармонии гудков, в сердце должен устояться покой: в мире нет ничего случайного.

54

Медчасть срочно эвакуируют: наёмники прорвали границу. Им так сказали: лезьте, там будет видно. И почему бы, в самом деле, не прогуляться по сонно безоружным вражеским сёлам, расстреливая возле заборов старух и собак, выгребая из домов кому что приглянется. Главное, помнить, что у тебя самого имеются права человека, а у этих — нет. И чтобы как можно скорее себе это доказать, наёмники вламываются в деревенскую «Пятёрочку», сметают с полок кабачковую икру, сахар, макароны...

Укладывая раненых в переполненный фургон, Филя на ходу сообщает фельдшеру: они уже здесь. Ещё не слыша ни польской, ни французской речи, он чует их нетерпеливый нахрап, опьяняющее вожделение к убийству. И фельдшер тоже как будто чует, то и дело оглядываясь и прислушиваясь, и раненым, похоже, уже всё равно, довезут ли их до места.

Первыми в медчасть вламываются поляки, и сразу за дело: деньги, золотые-серебряные крестики и цепочки, спирт. Поляк верит в свою католическую удачу, она накатывает на него всегда одинаково: львы нажрались, теперь твоя очередь. Очередь гиены. И раз уж поляк, как известно, заодно с Ватиканом, история то и дело подсаживает пана на изнуренную недокормом клячу польской сообразительности, пуская вперёд себя то на Берлин, а то даже и на Москву. И вот теперь этот счастливо подвернувшийся случай: ввалиться в чужое приграничье, откуда давно уже несёт неприлично сытой жизнью. У себя дома, не говоря уже о Париже, это приграничье давно считается мёртвой зоной, и поляк то и дело щёлкает «на память»: сгоревшие легковушки, обвалившиеся этажи, набитые макаронами и кетчупом бесхозные тележки.

— Врачей допросить, остальных кастрировать, — распоряжается офицер, плеснув себе в стакан немного спирта, и первым делом к Филе, — Деньги, часы, золотой крестик...

Не обнаружив под тельняшкой креста, поляк вытряхивает из карманов Фили всё, что есть: расчёску, документы, телефон, вытряхивает из паспорта вчетверо сложенный листок, явно с секретными данными. Глянув, что там, поляк недоумённо смотрит на офицера, и тот берёт листок и тоже смотрит: тут всё, как надо, прописано, но ведь этого не может быть, тут явно какая-то хитрость. Однако это не копия, печать всамделишная. Тут пахнет большой, очень большой игрой. Желая перехитрить самого себя, уже готового принять вчетверо сложенный листок за чистую монету, поляк вкрадчиво произносит по-русски:

— Кто твоя жена?

Даже фельдшер ничего об этом не знает, отпустив Филю на целых три дня, и теперь мучительно морщит лоб, пытаясь вообразить себе свадьбу на скорую

руку, ради посмертных и прочих выплат. Они же, бабы, не дуры, хватают себе контрактников, а те то ли вернутся, то ли нет, зато ей, теперь уже вдове, обломится бабло.

— Её Величество королева Лаура, — нехотя отвечает Филя, исподлобья глянув на фельдшера.

Переглянувшись, поляки разом принимаются хохотать, такую глупость не услышишь даже от хохла. Этому врачу явно пора в психушку: воображает, что сам он король, кастрировать его вместе с остальными. Но эта всамделишная печать, этот львиный герб самой богатой в мире страны, чья королева оплачивает полякам их приграничные шалости, а недавно, так отстегнула от своего нефтяного бюджета аж пять миллиардов евро на всякие бандеровские нужды. Но чтобы выйти замуж за ничтожного врачишку, и к тому же кацапа, такого просто не может быть!

— Отправим его во Львов, к инспектору по иностранным делам, — наконец распоряжается офицер, — а этих...

— Ребята поедут с фельдшером на базу, — властно, как и подобает королю, произносит Филя, — иначе Её Величество отвесит вам по полной, она ведь тоже солдат!

Поляки молчат, хоть это всё ещё смешно, и офицер неуверенно произносит, снимая телефоном копию с листка:

— Верно, она носит военную форму, она крутая.

Ещё раз глянув на фельдшера — может, в последний раз — Филя идёт к машине.

55

Обычно Толстуха брезгует о чём-то просить вольного каменщика, а тем более, о таком пустяке... ну и тяжёлые же настали времена. От одного только вида масонской мужебабы её начинает тошнить, и заедая тошноту хрустящими свиными чипсами, она обещает себе не уступать ни грамма своего веса коварному конкуренту.

— Мы идём навстречу катастрофе и полному коллапсу, — траурно начинает Толстуха, разместившись на тесном для неё двухместном диванчике, — нацисты теснят нас, уже не скрывая своих намерений перехватить власть и выгнать из страны всех мигрантов, включая столь высоко ценимых нами украинцев. Их фюрер намерен также разорвать наши атлантические соглашения, тем самым оставив нас без американской защиты, и самое ужасное — нацисты готовы дружить с русскими...

— Знаю, знаю, — торопливо отмахивается масонская мужебаба, дымя Толстухе в лицо, — нацисты оказали нам услугу, пропихнув нас вперёд себя

как более опытных и ловких, и они не сидят без дела за нашей спиной, они готовятся, они все — солдаты. А те, что сейчас в казармах, разучивают нацистские песни и вовсе не склонны драться за своё, такое уже близкое, мультикультурное счастье, к тому же среди них почти нет приезжих.

Свиные чипсы ничуть не хуже попкорна: ими можно хрустеть даже во сне, хрустеть и слушать долгоиграющий масонский шлягер про то, как уломали наконец Европу составить предсмертное завещание: себя вразнос, остальное на вынос. Никто лучше вольного каменщика не знает, куда вести стада блеющих о благоденствии баранов, и чтобы придать празднику кошерный вид, барана слелует прикармливать висящей у него же на ушах капустной мифологией о вечной его, барана, вине перед добропорядочным резником.

— … и мы-то знаем, — продолжает масонская мужебаба, — зачем Европу собрали в один общеевропейский загон, выход из которого никому уже не по карману: её попросту не должно больше быть. Но она, увы, всё ещё шевелится, мычит, порой даже бьёт копытом, она всё ещё мнит себя райским садом. И мы нашли ей подходящее занятие: кормить собой все трущобы и клоаки мира. Мы вляпываем её, такую толерантную, в месиво украинских нечистот, виртуозно подводя её к неотвратимому будущему: самой стать Украиной, стать выжженной пустыней.

— Зачем тогда ты флиртуешь с нацистами, — сердито перебивает её Толстуха, — таранишь вместе с ними основы нашего мультикультурного благоденствия?

— Единый европейский север, о котором болтает их фюрер, — усмехается мужебаба, — и есть тот баллистический дальнобойный снаряд, который рассечёт Европу надвое, не дав Германии влиться в общегерманский поток. Это как раз то, на что мы и расчитываем: исключить естественную, исходящую из духа самой Европы, европейскую общность.

— И где же он, этот дух Европы? — хрустит свиным чипсом Толстуха.

— Да у тебя же под носом, в королевском замке, в этом возмутительном университете Грааля! Стоит нам проморгать, и этот Грааль понесут отовсюду, с севера и юга, с востока и запада. Миллионы русских, душевно предрасположенных служить Граалю, найдут здесь себе братьев, Европа развернётся на восток, высматривая свои новые очертания на исторических арийских землях, и наша демократия смехотворно рухнет под тяжестью своей же глупости. Но... — мужебаба переходит на шёпот, — мы подпёрли собой нацистов не просто так, мы вытрясли из них обязательство при первой же возможности закрыть этот университет Грааля. Всё что угодно, включая гитлеровскую ностальгию, но только не Грааль! Любое знание об этом должно быть истреблено и забыто, только так мы и сможем продолжить наше великое глобальное строительство.

— По мне так куда важнее добить на Украине русских, — хрустит в ответ Толстуха, — вот первейшая задача Европы, а не какой-то там... — она роется в чипсах, — Грааль. Бить по Москве, да мало ли других целей, собрать

миллионную армию мигрантов, готовых воевать за одно лишь наше гражданство, чем они хуже украинцев. Заодно разобраться наконец с королевой, заставить её сидеть дома под надёжной охраной мусульманской полиции, а этот Грааль... — она вопросительно смотрит на мужебабу, — что это в самом деле такое? Фантазия, сказка, ничто.

— Мы ещё лучше поймём друг друга, — подсказывает мужебаба, — когда ты назначишь меня министром финансов.

Хруст свиных чипсов.

56

От мусульманской полиции до всякой другой расстояние порядочное, и дело не в черной бороде с завитушками корана, но в сидящем в бутылке, что за пазухой у мусульманина, джине. И поскольку жизнь у джина обычно долгая, мусульманин не спешит выпустить его на прогулку, присматриваясь к ниспосланным аллахом социальным пособиям. Одно дело, когда голодает и бомжится белый, с университетским дипломом, безработный, и совсем другое дело, когда прибывшей издалека муслимской прабабушке не дают в тот же день квартиру и водительские права: джин тут же выпрыгивает из пригретой за пазухой бутылки. Он презирает, этот джин, Европу, любезно давшую ему, бесу, гарантию человеческих прав. Сам он никогда бы не стал пускать в свою тесную посудину даже комара-однодневку, не говоря уже о многокопытных стадах сбежавшихся со всего мира прожорливых «новых граждан». И хотя аллах создал мусульманина вовсе не для Европы, джину любопытно, чья глупость возьмёт верх, и ему не терпится поскорее выбраться из бутылки наружу. Особенно джину приятен кебабный прикид мусульманок: с какой стороны не зайди, везде только чёрное, без единой полоски и крапинки, начиная от внесезонного платка и кончая разношенными ещё дедушкой ботинками. Рискуя остаться без своего бутылочного убежища, джин увязывается за облепленной болтливым выводком муслимской самкой, и сдаётся ему, что надо, пока ещё не поздно, переучиваться на европейца, делаясь то адвокатом, то телеведущим. Надо самому вертеть продажным европейским законом, возносящим аллаха выше любого небоскрёба, а повёрнутый к аллаху мусульманский зад — выше стоящего в зените солнца. Джин, впрочем, побаивается: вдруг отнимут родную бутылку, бросят на мусорку, а самого затолкают в пустую, из-под скумбрии в томате, жестянку, к которой не притронется ни один муслим. Однако аллах и тут готов подсуетиться: со своих кровнородственных высот Всесильный шлёт заждавшимся муслимам местную полицейскую форму. Теперь-то джину не о чем беспокоиться: бутылка охраняется государством как предмет первой мусульманской необходимости.

Закон не любит, когда от него домогаются, откуда он, такой, взялся. Скорее всего, ниоткуда, просто вскипело у кого-то в башке, сорвало паром крышку.

Закон требует вновь и вновь, чтобы распяли Христа, поскольку туда, где из вещи выступает её суть, закон пробиться не может, оставаясь при своих убогих «от и до». В законе не прописано, что сам он всего лишь костыль для хромого, которому и дальше так хромать, и это не ему, закону, залечивать раны, разве что припудрить их деловой косметикой. И ничего так не желает закон, как стать для кого-то наказанием.

Стеречь запертую в своём доме королеву — дело приятное и почетное. Стеречь до тех пор, пока королеве не надоест один и тот же вид из окна: черные бороды, полицейские машины, толкучка возле торчащего у забора нужника. Бороды сменяют друг друга, не нарушая численности сторожевого поголовья, и полицейская рация то и дело отчитывается перед серым, пепельно-пыльным заказчиком: ничего нового.

Глянув из окна спальни во двор, Лаура тут же спускается в прихожую, где допивают утренний кофе её солдаты, молча идёт к двери. В военной форме, с засунутой под берет черной косой, она словно и не хочет казаться королевой, да и стоит ли казаться...

— Чего вы сюда припёрлись? — сердито начинает она, оглядев полукругом стоящих полицейских, и те равнодушно глазеют на неё, у них при себе оружие. В сочетание с черной бородой оружие вовсе не игрушка. Возле полицейской машины дежурит с рацией их шеф, с такой же аллахово-чёрной бородой, сейчас он королеве ответит.

— Мы здесь по приказу премьер-министра, в городе неспокойно, по улицам маршируют нацисты, вам следует оставаться в доме...

— Я сама решаю, где мне лучше, — обрывает его Лаура, — а вам я приказываю немедленно покинуть мой двор и больше сюда не соваться!

— Мы охраняем вас, Ваше Величество, от вторжения нацистских свиней, они вот-вот захватят власть, их так много... — монотонно, как по корану, бубнит чернобородый шеф.

— Хорошие новости, — бодро отзывается Лаура, — вы все скоро поедите, кто откуда прибыл, вместе с вашими детьми и прабабушками, можете прихватить с собой Толстуху, продать в гарем... — она вызывающе смеется, — а теперь идите собирать вещи, времени у вас мало.

Даже аллах, при всём своём потливом могуществе, не склонен и дальше терпеть под собой, Всевышним, такое вольнословие незамужней, хоть и в военной форме, королевы. Терпения у аллаха попросту нет, оно ни к чему Всесильному, зато есть всепобеждающее презрение к потребителю нехаляльной баранины. И словно ответ на гневный аллахов вопрос, кто тут главный, полицейские муслимы орут вразнобой:

— Здесь наша родина! Мы никуда отсюда не уйдём! Здесь всё принадлежит нам!

И случайно оказавшийся среди них украинец, накануне сбежавший из африканского бананового плена, зычно командует:

— Бей москалей, круши кацапов!

Пристально на него глянув — кого только не заносит в эту нефтяную страну — Лаура идёт в дом, где беспокойно мотаются туда-сюда её охранники. Подозвав Зигги, она уводит его в сторону, озабоченно шепчет:

— Что у нас есть?

Ему не надо разъяснять, что и как, конь чует и так намерения наездника и несётся куда надо.

— В башне два пулемёта, в подвале автоматы и снайперские винтовки, — сухо докладывает он.

— Автомат, — коротко распоряжается Лаура.

Повесив автомат на шею, она снова выходит наружу. И без всякой команды её охранники занимают оплетённое жимолостью крыльцо. Их ровно двенадцать, и, если считать в обратном порядке, с одним ещё можно справиться, затолкав остальных в полицейскую машину. И уж тогда королеве придётся сидеть дома, вышивать гладью салфетки, вязать носки...

— Ни у кого из вас не должно быть ни малейших сомнений, — уверенно произносит Лаура, — ваше захватническое время истекло, вас выдавят отсюда силой, но лучше убирайтесь добровольно, дорогу вам оплатят.

Подойдя к ним ближе, она пристально смотрит каждому в глаза, а там — беспросветная мусульманская ночь, неистощимая похоть и скука. Одному из них удаётся на миг осознать, с каким вожделением он отрезал бы королеве голову, перед этим стащив с неё солдатские штаны. Шагнув вперед, он метко плюёт Лауре в лицо... да, прямо в глаза. Аллах велик и всесилен. И тут же снова ныряет в строй, свои не дадут в обиду.

Не вытирая плевка, Лаура отходит с автоматом чуть в сторону и даёт очередь по песку и траве, обсыпая стоящих полукругом полицейских смесью земли и гравия. Те пока ещё не верят, что она может их всех вот так, одной очередью... кто-то нервно смеется. За первой очередью по песку следует вторая, гравий летит в чёрные бороды, в прищуренные от ненависти глаза, и тот, что всё ещё украинец, спешит к нужнику.

И тут кто-то стреляет ей в спину.

Резко обернувшись, она готова дать третью очередь, но тот, кто стрелял, уже висит на руках охранников. Сняв с себя автомат, она отдаёт его Зигги, достаёт из внутреннего кармана пистолет, она решает всё здесь, на месте.

— Ты промахнулся, браток, — холодно произносит она, — мне ни к чему такой охранник.

Не целясь, она сбивает с его головы косо сидящий берет.

— Отпустите его, — сухо распоряжается она, — Иди куда тебе надо, сражайся со мной на улицах, тебя так или иначе ждёт виселица. Ну, проваливай!

Он плетётся к полицейской машине, а там уже нет мест, плетётся дальше...

57

Серый, дождливый Львов. Размеренная, несмотря на войну, сытая, глупая мирная жизнь. Смесь английского с польским, неуёмная, на грани срыва, радость такой уже близкой победы, до которой всего полшага, как до ближайшего кладбища. В город свозят отовсюду бесхозных детей, попутно объясняя им, что быть ходовым товаром — залог обещанного Бандерой счастья. В детдоме, где дважды в день перловка с ячкой и раз в месяц душ, каждый бесхозный трудоустроен: девочки-мальчики интимно обслуживают директора, а всё свободное время проводят в морге, обмывая и прихорашивая трупы. Работа бесплатная, зато будет потом что вспомнить, ведь детство у каждого одно. Счастливое, бандеровское.

Выгрузив возле детдома подобранный по дороге товар, крытый брезентом грузовик прёт по главной улице к воротам с двумя часовыми и будкой, а дальше только по пропускам. Высадив Филю на залитую дождём мостовую, солдат молча толкает его вперёд, перед этим убедившись в прочности наручников. Серый каменный забор, стальная дверь, решётка. И поскольку это все-таки не тюрьма, солдат уточняет: здесь производится национальная безопасность. То есть как раз то, чего желает для себя каждый, будь то война или мир.

Поднявшись по боковой лестнице, солдат тормозит возле приоткрытой двери, и к нему тут же выходит другой солдат, оба не прочь поболтать. Оно ведь не к спеху, спровадить пленного на допрос, тут каждый застревает надолго.

Прислонившись к стене — устал всю ночь бессонно трястись в грузовике — Филя подсматривает в приоткрытую дверь, а там спортивный зал с лежащими на полу людьми. Что это пока еще не трупы, подтверждают гремящие над ними бандеровские марши, и яркий свет прожектора норовит продраться сквозь душную ткань надетых на головы мешков. Руки связаны, под спиной вонючий матрас. И словно угождая настороженному любопытству Фили, солдат безразлично поясняет:

— Работали, гады, на москалей, теперь вот жалеют, да поздно, жратва — четыре ложки каши раз в день, глоток воды, одна минута в нужнике, ночью собачий холод, ну и само собой, допрос... допрос здесь профессиональный.

Глянув на Филю, солдат ни с того ни с сего злится, будто заранее зная, что этот непременно улизнёт, подставит хоть даже родную мать, вон как настырно пялится... хотя ведь никто ещё отсюда не улизнул, и все вместе дружно сходят с ума.

— Чего глазеешь, пошли, — солдат гонит Филю дальше, вверх по лестнице.

Этажом выше контора, тут же и начальство. Безопасность — штука коварная, и если бы не английская помощь, даже и войны бы, может, не было, зато сейчас не доносит на другого разве что покойник. Украинская безопасность

сродни прививке от бешенства: вкололи — и хоть с цепи срывайся. И чем украинцу безопаснее, тем прочнее сидит у него в башке ржавый советский гвоздь: что-то с памятью опять стало... Вот ведь и американские ракеты уже тут, и английские, и какие хочешь, а безопасность как имелась в виду, так и имеется, она всё ещё в виду... какой, кстати, вид!

Втолкнув Филю в чей-то кабинет, солдат заслоняет собой выход, и антикварный письменный стол с бронзовым бюстом Бандеры наступает на обоих неотвратимостью предстоящей разборки. Возле зарешеченного окна, спиной к столу, торчит упакованная в полицейскую форму долговязая фигура, явно не потревоженная приходом посетителей.

— Пригнали москаля, — бойко докладывает солдат, — то ли шпион, то ли псих, а так вроде смирный.

Нехотя обернувшись, начальник так и остаётся стоять возле решётки, словно пребывая в каком-то глубоком сне, и на его усталом, выцветшем лице вспыхивает на миг удивление и досада. Но только на миг, дальше всё как обычно: сухой кивок на стул, непроницаемость заученных фраз. Сказав солдату выйти, он смотрит на Филю в упор, словно собираясь уже спустить его этажом ниже, в мертвецкий спортивный зал. Смотрит, словно что-то для себя выясняя, словно выпытывая у самого себя, готов ли...

58

Молча положив на стол документы и сложенный вчетверо листок, Филя смотрит на бронзовый затылок Бандеры, смотрит, как по нему ползёт муха... Не всё ли равно, где закончится эта короткая жизнь? Она ведь не первая и не последняя. Она уже получила кое-что для себя, насытилась, пригрелась... а если что-то и не успела, оставит для следующей жизни...

— Ты все-таки украл её у меня, — развернув листок, возмущённо произносит начальник, — украл у меня Лауру! Украл принцессу, украл королеву!

— Шура... — с сожалением произносит Филя, — это судьба, неизбежность которой каждый готовит сам, пожиная плоды своей предыдущей жизни...

— Мы ведь даже не расторгли помолвку, — не слушая его, продолжает возмущаться Шура, — и если бы не мой спешный отъезд... Но теперь уже поздно, поздно... И это ведь ты вынудил меня уехать, украв у меня нюк и грохнув американское корыто, следствие добралось бы и до меня...

— Однако расследование быстро замяли, — напоминает Филя.

— Замяли потому, что этот нюк наши украинские хлопцы спёрли у тех же морпехов, когда посудина стояла на севере, там было несколько таких снарядов, поэтому так и рвануло. И даже если бы я указал на тебя, мне бы всё равно досталось по полной, тем более что ты мой брат, — он укоризненно смотрит на Филю, — и вот теперь ты здесь, в бандеровском Львове, и одно

моё слово опустит тебя этажом ниже.

Молча глядя в пол, Филя старается погасить все мысли, готовый принять всё как есть. Никто не разделит с ним эту немую тоску о не существующем нигде братстве, ведь это не кровь роднит людей, но устремлённость к истине. Лишь тот, кто уже выбрался из комфортной эгоистической спячки, и может подступиться к другому, вовсе не надеясь на взаимность. Сознание братства едва только брезжит в сумерках отчуждённости и страха перед соседом, наделяя одного бескорыстием, а другого жадностью. Сознание изначальной принадлежности к плану Творца. Христос не нуждается в рабах, Ему нужны братья.

— И Лаура огорчится, узнав, как тебе сломали на допросе рёбра и выбили зубы, — наставительно продолжает Шура, — как ты сошёл с ума под грохот бандеровских маршей. Что скажешь, брат?

— Ты сам уже всё сказал, — холодно произносит Филя, — сказал всё о себе. Таким тебя сделала твоя прежняя жизнь, загнавшая тебя в лабораторную пробирку...

Испуганно на Филю глянув, Шура встаёт из-за стола, но тут же снова устало садится, и словно что-то ему подсказывая, снизу доносится сдавленный женский крик, животный, нутряной вопль. Допрашивать баб сподручно не каждому, тут нужен подход, да, подход бандеровский.

— Ты вот что... — нервозно произносит Шура, — ты мне ещё пригодишься, живой... усвоил?

Открыв сейф, Шура достаёт несколько паспортов, смотрит. Это не подделка, это паспорта погибших солдат. Полякам плевать, сколько ещё хохлов перебежит на их сторону, и самолёты из Варшавы пока ещё летают.

— Этот тебе подойдёт, есть смысл рискнуть... = Шура кладёт на стол паспорт, — вали к своей королеве!

— Лучше обменяй меня на пленного, — хмуро предлагает Филя, — мне надо обратно, в медчасть...

— Да не нужны нам эти пленные, — с досадой отмахивается Шура, — сплошь испорченный товар, их же там, в плену, кормят и лечат, мало кто захочет обратно. Так что вали отсюда поскорее... — он достает из ящика стола несколько крупных купюр, — деньги потом вернёшь.

Молча взяв деньги и чужой паспорт, Филя тревожно смотрит на брата, ему-то здесь как... Фронт не стоит на месте, поляки зря пускают слюну в этом мрачном бандеровском Львове.

— Вижу, ты тут неплохо устроился, — вопросительно глядя на Шуру, произеносит он, — надолго?

— Пока воюем с москалями, сижу здесь, — нехотя поясняет Шура, — земельные участки толкнул перекупщикам, купил за гроши здесь, во Львове, детдом, теперь ведь на деток большой в мире спрос, хотя цена на органы

падает, рынок затоварен... Приобрёл ещё кладбище, золотая жила! Короче, к папе вернусь с деньгами.

В кабинет заходит солдат — знал ведь, что москаль улизнёт — и Шура, выпроводив обоих, кричит Филе вдогонку:

— Она же любит не тебя, но Фритьофа Нансена!

Обернувшись, Филя видит закрытую дверь.

59

Ничто так не старит историю, как намотанная на её указательный палец липкая ложь. Отчаянно молодясь перед зеркалом отшлифованных нуждой и страхом фактов, история предлагает себя в ретуши мифа и популярной детской сказки, и такую её как раз и любят. Но старость берёт своё, история становится болтливой, бесстыдно оголяя язвы и шрамы... одна сплошная неизлечимая болезнь. И скоро, уже скоро от истории останется лишь парадная упаковка коммерческого мифа, останется липкий след парфюмированной лжи.

— Что из того, что нас, свободных каменщиков, нигде в мире не любят, — подбадривает мужебаба уставшего с ней спорить фюрера, — мы все равно проворачиваем всё, что задумали. Мы там, где рубят королю голову и перевоспитывают целый народ, мы заранее составляем карту раздела пока ещё процветающих стран, подсчитываем прибыль от предстоящего грабежа...

— Тогда зачем ты клеишься ко мне, — осаживает её фюрер, — я ведь и без тебя почти уже у власти.

— У этого «почти» неопределённые сроки, но с нами ты станешь премьером уже завтра. Разве не стоит ради этого чуть сдвинуться в сторону, отказавшись от абсурдной идеи социального триединства, с его свободой духа, равенством в правах и братством в производстве? Наша вздорная королева только того и хочет, чтобы убить свободу предпринимательства и упразднить конкуренцию, одновременно отнимая у политиков возможность напрямую рулить как производством, так и культурой, тем самым не позволяя им следовать каким-то своим, мистическим, потусторонним законам. Наша юная безумная Лаура намерена лишить политику ведущей роли, опуская её до чисто конторской работы с законами и правами. И весь этот ужас сводится к тому, что известные лишь нам одним, вольным каменщикам, великие истины эволюции станут доступны каждому!

— Она в самом деле такая, Лаура, — охотно соглашается фюрер, — она сумела приподнять себя над суетливой толкотнёй возле государственной кормушки, сумела добыть из самой себя нечто важное...

— Я вовсе не против твоих личных к ней симпатий, — снисходительно замечает мужебаба, — тем более, что Лаура с кем только не путается. Но

Грааль, этот возмутительный монстр средневековых заблуждений, этот вирус антидемократического бешенства, эта самонадеянная затея переиначить разумный порядок вещей — это следует раз и навсегда уничтожить. Пусть лучше сгорит королевский дворец вместе с незаконно оккупировавшим его университетом, чем наступит крах этой страны, облом её ведущей финансовой роли... — тут мужебаба переходит на шёпот, — мы сделаем это вместе!

— Когда-то Гитлер согласился на подобное от вас, масонов, и стоящих за вашей спиной иезуитов предложение: покончить с только что родившейся в Германии духовной наукой, — невозмутимо отвечает фюрер, — предложение, подслащённое благоволением римского папы и готовностью еврейских банкиров оплачивать счета будущей войны. Сам Гитлер не имел ничего против только что родившейся антропософии, и в его окружении было полно уже просвещённых ею людей. Но сам папа римский! Высший духовный авторитет! Стараясь не бередить своё же самолюбие — ещё в Вене нанесённую ему копьём Грааля рану — Гитлер допустил преследования христианской общины Грааля, чем очень угодил Ватикану. Но спросим себя сегодня: что если бы Гитлер не подчинился Ватикану?

— Тогда ему не дали бы денег, — сухо подсказывает мужебаба.

— В сравнение с тем, что могло бы произойти, деньги еврейских банкиров — сущий пустяк, немцы справились бы и сами, с их трудолюбием и умом. Но если бы национал-социализм впитал в себя духовнонаучные идеи, как впитал в себя отзвуки вагнеровских мистерий, Германию не смог бы победить никто! И в ней самой созрели бы силы сближения с русскими, и никакой Сталин не смог бы этому противостоять.

— Ты слишком много знаешь, — с досадой замечает мужебаба, — и это тебя портит.

— И мы не станем повторять ошибку Гитлера, — невозмутимо продолжает фюрер, — мы готовы принять Грааль как новую ориентацию всего нашего движения, мы готовы нести Грааль в разорённую демократией, опустошённую материальным благоденствием Европу.

С брезгливым сочувствием на него глянув, мужебаба заставляет себя улыбнуться, она же профессионал, она ещё напомнит этому неотесанному фюреру о его фатальном промахе. И это не ей, вольной каменщице, угождать сиюминутности чужих настроений.

60

Проскочив через паспортный контроль, Филя тут же сворачивает в зелёную зону, и вот наконец выход... хотя паспорт остается в окошке у полицейского, этот украинский пропуск в новую, счастливую, сытую жизнь. И только в автобусе до Фили наконец доходит: он снова едет к отцу.

Закрыв глаза, он пытается вернуться обратно, в прифронтовую медчасть, где едва ли справляется теперь без него изнуренный бессонницей фельдшер, но мимо несется иной пейзаж, с чужими, пока еще мирными настроениями, и нет ни малейшей надежды пробиться сквозь тупое довольство этим «уровнем жизни». Отсюда текут на украинскую бойню миллиарды королевских крон, и жадность гонит сюда голодные стада полулюдей, едва ли соображающих, кто они сами такие. И пусть поскорее закончится нефть, закончится вырубленный под корень лес, закончится треска и вертящий пропеллеры ветер, закончится вера в самодостаточность мира вещей. Словно под взглядом мифической горгоны Медузы, даже самая невинная мысль о вещах неизбежно каменеет, застывая в рассудочных формулах, сквозь которые уже не прорастёт свежий душевный побег. Старение, сползание к уродливым формам примитивных желаний, вот что готовит себе усыплённая сиюминутным благоденствием Европа. Откуда ей взять пробивную силу нежного зеленого ростка, вспарывающего асфальт и бетон? Только из своей же бессонной, солнечной мысли, прозревающей в своих высотах Христа. Но к этому Европа ещё не готова: разглядеть за старым, дряхлым обличием низменно-чувственной Медузы юные очертания будущего. Малодушно признав для себя главной проблему зла, Европа присягает хаосу и уродству, не замечая неустанно трудящихся над ней сил выпрямления и равновесия, сил индивида. Проблема зла, упёртая в концлагерную муфельную печь, заслоняет собой куда более драматичную проблему добра, которую каждый решает сам для себя. Измеряя настоящее аршином прошлого, с его великими трагическими победами, нормальный затхлый ум не видит, что прежнее добро неминуемо становится нынешним злом. И это нормально, желать больше того же самого. Больше демократии, больше расового равенства, больше толерантности к содомизму! И вытаптывающим Европу чужеродным стадам остаётся только дощипать кое-какую травку... да вот уже всюду лишь пепел и экскременты. Но мёртвые, они-то зря не теряют время, готовясь снова спуститься на землю, встряхнуть её своей свежей волей, своим пониманием прежних ошибок. Они непременно нагрянут сюда, где жили уже когда-то, высматривая подходящую для себя колыбель, эти пока ещё безымянные, но уже знающие, зачем им сюда нужно.

Добравшись на такси до отцовского поместья, Филя идёт прямо в гараж, где всё ещё ждут сборки заснувшие на рабочем столе бабочки. Как давно это было, хотя не прошло ведь и года. И то, что произошло в Москве между ним и Лаурой, можно ведь просто отбросить как лишнюю в книге страницу, незаметно ускользнув обратно в своё, исполненное смысла одиночество.

— Как ты здесь оказался? — испуганно произносит Кнут, заглянув в гараж, — Это ведь ты, Теофил?

— Я только заберу моих бабочек, — смущённо отвечает Филя, — и было бы неплохо перекусить...

— Граница закрыта, а ты... в русской военной форме, — все так же испуганно продолжает Кнут, — и я подозреваю, что за тобой вот-вот явится полиция, что только испортит мою репутацию, я не намерен принимать у себя шпиона!

Пристально глянув на отца, Филя едва заметно улыбается, с нормальными людьми всегда так, им говоришь, они не слышат, им показываешь, они не видят, и пусть так оно и будет, это нормально.

— Хорошо, я ухожу, — кротко заключает Филя, пряча под украинскую куртку готовую к полёту бабочку.

— И куда же? — с опаской произносит Кнут, попятившись к двери.

— Попрощусь на ночлег к королеве, — смеется Филя.

— Вот-вот, там тебя как раз и ждут, — сердито замечает Кнут, — возьми хоть свежий батон и термос с кофе...

Проводив сына до калитки, Кнут устало бредёт к дому, там у него вчерашние на экране новости и холодный ужин, и завтра будет то же самое, и послезавтра.

61

Опустившись на присыпанную гравием дорожку, бабочка то раскрывает, то складывает прозрачные крылья, словно кому-то сигналя, и её невесомое тело отсвечивает то голубым, то ярко зелёным. Первый её замечает Зигги, но другим сообщить не спешит, стараясь сообразить, откуда такое могло прилететь. И пока он раздумывает, на крыльцо выходит Лаура, и бабочка сама подлетает к ней, словно желая оказаться пойманной.

— Похоже, он здесь, — озабоченно произносит Лаура, — сейчас я его найду... — она идёт к калитке, и бабочка несётся следом за ней.

Теперь уже и охранники соображают, как быть, бежать к воротам или ждать от королевы приказа. И Зигги наконец решает вмешаться: пробует поймать налету танцующую в воздухе бабочку, а та словно дразнит его, то и дело меняя направление. Не пристрелить ли её?

Молча кивнув стоящему за воротами Филе, в военной форме и со свёртком подмышкой, Лаура впускает его, стараясь ничем не выдавать удивления и лишь украдкой пожав его руку.

— Это мой новый охранник, — спокойно сообщает она Зигги, — теперь вас снова двенадцать.

— У него на рукаве русские нашивки, — тревожно замечает Зигги, — ты в своём уме?

— Пусть переоденется там, наверху, я провожу его.

Не оборачиваясь, Лаура поднимается по узкой винтовой лестнице в башню, где кроме двух пулемётов стоит под чехлом телескоп. В башне тепло, хотя снаружи мартовский мороз, и несколько готических окон смотрят со своей высоты на заснеженный сад и соседний лес. Солнце вползает за горизонт,

отдавая небу пылающую алость заката, но темнота подбирается уже пепельно-серыми полосами к застывшим над лесом облакам.

Сев на обитую мехом скамью, Лаура наливает из термоса кофе, себе и Филе, разламывает свежий батон. Это так удивительно, вдруг оказаться дома, контрабандой перетащив себя через три границы, пусть даже в этой монастырской башне, рядом с упёрщимися в окна пулемётами. Дом вовсе не там, куда загоняет тебя рутина повседневного выживания, он в тебе самом, в том невозмутимом покое, что приходит с отказом от нищеты одних и тех же, ненасытных стремлений: конкуренция, власть, победа... Дом, который ты строишь всю свою жизнь.

— Будем смотреть на звёзды, — тут же рещает Лаура, — в такую ясную морозную ночь на небе нет свободного места, и сколько их, никто никогда не узнает.

Усевшись на скамью возле телескопа, они по очереди смотрят: везде только звёзды, звёзды... и у каждой из них свой особый взгляд на землю. Разве не для того сияют они возле границ зодиака, чтобы жертвовать свой свет, свои звёздные силы остывающей, каменеющей земле? Земле, прошедшей половину своего пути, достигшей низшей точки отвердения, пропитанной злой волей эгоизма и меркантильности. От земли не добьёшься правлы о себе самом, ведь все её природные законы верны лишь в пределах горизонта, тогда как ты сам странствуешь во сне и после смерти среди иных планетарных сфер, получая от звёзд необходимое для жизни питание. И только за пределами времени, за гранью пространства и обретает смысл неустанность того разрушения-созидания, что извлекает из ничего новое солнце и швыряет его в ничто...

— История только прикидывается удобно вписанной в названия и цифры, — неспеша поясняет Филя, — уложенной в легко обозримый ряд великих и малых имён. Такую её скармливают нам в школе, тогда как сама она вовсе не здесь, она среди звёзд. История нашего возникновения, роста, взросления. Другое дело, способны ли мы её среди звёзд разглядеть. Когда-то давно, когда слагались красивые греческие мифы, звёзды жили среди людей, ещё способных видеть в них живое. Сегодняшние же астрономические мифы говорят лишь о мёртвом, примеряя законы природы к не подчиняющейся им космической действительности. И как бы мы не восхищались сегодня нашими спутниками и космическими зондами, добытые ими сведения всего лишь куцая, от и до, материалистическая мифология.

— Но смотри, Полярная звезда прямо над нами! — увлечённо произносит Лаура, — Самая яркая срели семи звёзд Малой Медведицы... А почему, собственно, Медведицы?

— Созвездие Медведицы, пронизанное космической силой Христа, подарило нам вертикаль, поставило на ноги, выпрямило, дало ощущение верха и низа. Медведь куда больше похож на человека, чем обезьяна, у которой четыре хватающие руки, тогда как медвель стоит, танцуя, на самой настоящей кожаной стопе, имея к тому же два соска на груди, а не дюжину «пуговиц»

вдоль брюха. И как медведь поднимается на задние лапы, так поднялся на ноги до этого ползающий на четвереньках человек. Сквозь это созвездие Христос смотрел на древнюю землю, будучи от неё ещё так далеко, и Его выпрямляющая сила сделала из жалкого и униженного человеко-ящера первого библейского Адама. Это событие было отмечено космической катастрофой: земля выплюнула из себя, вместе с лавой вулканов, субстанцию булущей Луны, освободившись от сил слишком быстрого уплотнения, и теперь уже с Луны стали действовать силы наследственности, и всё ползучее, драконье, что ещё оставалось в людях со времён стоящего над полюсом созвездия Дракона, влилось в лунные силы размножения. Тогда как солнце, отделившееся от земли ещё в райское, гиперборейское время, укрощало дракона, постепенно приводя силы воспроизводства к силам познания. И даже теперь, когда любой дурак считает себя умным, лунный дракон то и дело просыпается в каждом из нас, грозя разорвать в клочья пока ещё тонкую ткань солнечного здравомыслия. Дракон питается самой неухоженной частью нашего сознания, сексуальностью, тем самым затягивая нас в огненный туман инстинкта и бессознательности. И хотя сама сексуальность изначально является божественным даром, незрелось человеческой души обращает её во зло.

— И куда нам от неё теперь деться? Все только и думают о постели, а там теперь Фритьоф Нансен, не желающий иметь детей!

— Драконья сексуальность должна быть переработана в новые силы мышления, так чтобы познание и любовь стади едины.

— Скажи это негру, насилующему в королевском парке идущих мимо девчонок...

— У черной расы нет будущего, это всего лишь бегуны, танцоры и футболисты, безнадёжно пленённые древней бездумной страстностью. Их история смотрит назад, во тьму инстинкта, их загоняет в вулканическое прошлое скорбящий о погибшем рае Цефей, и под его полярной звездой расцветают лишь силы памяти, простирающиеся на нескончаемый ряд предков: есть род, но нет отдельной личности. Может показаться, что негр думает, но он всего лишь повторяет заученное, чуждое, вводя в заблуждение психолога и социолога. Черная раса поднялась лишь до освоения своего примитивного языка, развивая силы обмена веществ, сделавшие эту расу физически сильной. И нет никакой тайны в том, что изначально черная раса была в тотальном рабстве у других, более развитых рас. Черные так и не дотянули до принятия в себя тех сил полярной звезды, что засияла над северным полюсом из созвездия Лебедя: сил утверждения личности.

— Говорят, лебедей создал Сам Христос...

— Созвездие Лебедя, давшее полярную звезду следом за созвездием Цефея, разбудило в людях сознание неизбежности смерти, равно как и сознание различия мужского и женского. Сквозь полярную звезду Лебедя личностная сила Христа притекала уже к каждому в отдельности, рассеивая густой туман стадного, родового сознания. Тогда-то у человека и открылись глаза, а до

этого он жил наощупь, доверяясь своему «третьему глазу», деградировавшему позже до шишковидной железы. Лебедь, принадлежащий равно воздуху и воде, открывает в человеке его двойственность: земное и небесное. В Лебеде над человеком парит его будущий индивид, и когда Лоэнгрин призывает своего Лебедя, он тем самым одолевает свою все ещё драконью, приземлённую, бездумно-чувственную природу, завоевывая себе крылатую образность мысли.

— Если под лебединой полярной звездой Христос впервые подступает к каждому в отдельности, вливается в каждого, делая его личностью, значит, сам человек становится как бы... Граалем?

— У человека появляется пока ещё только возможность подготовить себя для теперь уже сознательного, а не пассивного принятия Христа, и самым первым Граалем стал Иисус из Назарета, человек на вершине своего развития, способный удержать в себе космический Самодух.

— Но эта вершина развития, разве не обретается она на самом дне пропасти? В земной мясорубке жестокости и эгоизма?

— Следом за Лебедем полярная звезда стоит над полюсом в созвездии Лиры, туман бессознательной ориентации в мире рассеивается, впервые вспыхивает солнце предметного сознания, человек учится играть на инструменте своего тела, становится полностью земным. В Лире начинается странствие человека по «низинам жизни», к цели своего развития: к любви и свободе.

— От Дракона до Лиры расстояние порядочное, и все эти пять созвездий, в которых вспыхивает над полюсом полярная звезда, сверкают на небе космической пентаграммой, повторяющей пятиконечный образ самого человека: голова, руки, ноги. Что вверху, то и внизу, в нас самих.

— Лишь после смерти каждый узнаёт, насколько он сам огромен, расширяясь до зодиака и дальше, тогда как здесь, на земле, каждый вписан в границы своей кожи, не желая ничего знать о том, что все эти созвездия существуют лишь ради него и что сам он, космически огромный, распят на минеральном теле звёзд.

— Да, но как же всем хватает в космосе места, если каждый так необъятно велик?

— Каждый пронизывает другого и всех вместе, но это вовсе не предполагает обязательного контакта, можно ничего о другом и не знать. И не только после смерти, но также во сне все находятся друг в друге, независимо от своего рода и статуса. Разве не забавно, когда враги во сне живут друг в друге?

— Только не говори об этом вслух, сейчас ведь война, и завтра сюда явится американский морпех и примется спасать нашу кукольную монархию от русских шпионов...

— Ему придётся иметь дело с солдатом, несущим в руках укрощённую змею... смотри, там это созвездие Змееносца, рядом с созвездием Геркулеса... Американец всё ещё живёт своей вздорной мечтой найти в чужих краях

какой-нибудь клад, хотя бы обрезок нефтяной трубы, и сам он, выросший на куриных окорочках, почти атлет и годится в напарники Гераклу, совершившему двенадцать полвигов. О каждом из этих подвигов Геракл отчитывается перед командировавшим его на землю зодиаком, требующим от героя овладеть двенадцатью земными чувствами. Ради этого стоит уткнуться носом в землю, сгорбиться, погрязнуть в кипящей мещанине страстей, узнать, каково это, сжечь самого себя на погребальном костре разгулявшихся чувств. И накачавшему мраморную мускулатуру фастфудному американцу завидно: надо же так красиво себя угробить, жарясь на глобальной сковородке своего над другими превосходства. В этом американец совершенно уверен: никто так прочно не влип в меркантильную барахолку, как он сам. И если Геракл убил змею, лёжа ешё в колыбели, не желая по-змеиному умнеть, то американец давно уже эту змею перевоспитал, сделав из неё меркантильного змея, обвивающего податливывй глобус. Но надо же, кто-то хватает гада и не отпускает, выдавливая из него яд нестареющей мудрости, и змей, даже будучи меркантильным, не давит уже на глобус. Пришло время Змееносца, время Персея, одолевающего в лабиринте своих мыслей низменного Минотавра. Что делаем мы сегодня, то сияет нам сверху из этих созвездий...

— Мы смотрим в телескоп, но видим только лишь световые точки и их скопления, но что видел древний грек, глядя на звёздное небо? Он видет живые образы, он давал им имена.

— Эта пентаграмма созвездий, в которых поочередно вспыхивает полярная звезда, посылает свой свет земле как прообраз человека. И все эти пять созвездий соответствуют пяти человеческим расам: Дракон — красная индейская раса, в которой рано сформировалась и отвердела костнвя система, Цефей — жёлтая раса, в которой рано отвердела кровеносная система, Лебедь — коричневая раса, с рано отвердевшей нервной системой, Лира — чёрная раса, с затвердевшей системой питания. Белая раса позже других ступила на землю, дольше всех задержавшись в бестелесном «раю» и получив поэтому наиболее гармоничное, проработанное душой тело, что позволило ей стать самой развитой среди других рас, по сути, единственно перспективной расой. Созвездие Медведицы напечатлевает именно белой расе вертикаль мышления, так что всякое смешение рас противоречит космическому порядку.

— Мы тут, ты знаешь, как раз за это и воюем, гоним из страны расово чуждых искателей удачи, а то, что успело уже с ними смешаться, уйдёт второй волной. Мы — расисты в глазах тех, кто подсовывает нам свою наследственность, желая нас ослабить, а самому продвинуться, но этот наш расизм есть всего лишь нежелание самоубийства.Эта расовая война коснётся всего мира, война белого меньшинства против всех остальных, война за чашу Грааля.

Ночь уже на исходе, где-то рядом кричит петух. Спустившись по винтовой лестнице в спальню, Лаура видит на подоконнике едва распускающиеся, зелено-белые подснежники. «Зигги», — думает она, бросая Филе свой

банный халат.

62

Быть премьером и одновременно быть Толстухой можно разве что во вскормленном свиными чипсами, вялом от сытости воображении, тогда как просто рассудок, он же ссыпанная в карман мелочь, готов без конца торговаться по пустякам вроде лишней на подбородке родинки или трёхобхватной юбки в горошек. Зато, как считает сама Толстуха, с нервами у неё полный порядок: что бегемоту щекотка. Страна счастливо вступает в затяжную войну, оживляется интерес к смерти. Она почти уже тут, эта расторопная, всеядная гостья, и никакие отсрочки, вроде дополнительного завоза негров и приручения голодных хохлов, уже не помогут. Смерть ищет себе достойное в жизни место, тесня уставшую от вздувшихся цифр статистику чёрнокожей рождаемости. Ну, наплодит сомалиец целую бесхвостую банановую деревню, ну, поддаст себе фертильного жару бангло-азиатская самка ... а смерть-то присматривается, присматривается... вот уже и присмотрелась! В расход, или иначе, в отход грядущей войны должно отойти полмиллиона исправно платящих ей, смерти, налоги, и это не считая полмиллиона гостевых солдат, вдуваемых в страну из-за океана. Пора уже сегодня прикинуть, как обеспечить ожидаемый покос урнами и гробами, где взять столько газа, дров, электричества, но главное, где найти столько пустующей земли.

— Придётся потеснить поля и приусадебные участки, городские парки и овечьи пастбища, вырубить часть лесов, разгородить прибрежную дачную зону... — уныло докладывает мужебаба сидящей за обеденным столом Толстухе, — плюс футбольные площадки, стадионы, взлётные полосы...

Намазывая кетчуп на шестую по счёту сосиску, Толстуха спешно прикидывает, во что обойдутся начинающейся войне эти дополнительные приготовления, и выходит, что войне это только на пользу. Кому нужна война безотходная, бескровная, бесшумная?

— Но если на нас всё-таки не нападут? — окуная в кетчуп сразу две сосиски, тревожно произносит Толстуха, — Если обойдут стороной?

— Да кто им это позволит! — возмущается мужебаба, — Русские просто обязаны на нас напасть, иначе какие же они соседи! И даже если не нападут, гробы и урны все равно пригодятся: жить людям надоедает, жизнь становится слишком долгой. Вот ты, например, сколько ты ещё собираешься прожить?

Едва не опрокинув на себя банку с кетчупом, Толстуха торопливо жуёт, ей надо скорей прожевать... ну вот, проглотила. А ведь ей придётся лежать в двуспальном гробу, распирая стенки нагуленным на службе весом. Но не министру финансов намекать теперь на ожидаемые сверхрасходы, гроб уже тайно заказан и стоит у Толстухи в гараже.

— Пока мы не введём новый закон на наследство, разграничивающий смерть до семидесяти пяти и после, — уклончиво отвечает Толстуха, — люди будут продолжать жить слишком долго.

— Введём хоть завтра, — бодро обещает мужебаба, — всех, кто слишком зажился, ждёт после смерти сюрприз: наследство улетит в налог! И что же тогда? Тогда наследник будет торопить своего благодетеля поскорее убраться на тот свет, сознательно и добровольно, спрос на гробы и урны взлетит до неба.

— Гениально, теперь только обязать все аптеки выдавать бесплатно и без рецепта заветные капсулы-пятиминутки, возраст покупателя значения не имеет.

— Мы с радостью это сделаем! — обещает мужебаба, — С радостью! Только вот... — она торопливо закуривает, — королева Лаура готова зарубить наш гениальный проект.

— Везде эта Лаура, — раздражённо произносит Толстуха, — ну сколько можно! Сидит в своём монастыре, устраивает свои дурацкие лекции в своём идиотском университете!

— Бывает, что и королевские дворцы горят, — многозначительно замечает мужебаба, — и наши гостевые американские солдаты ничем не хуже слоняющихся здесь без дела бандеровцев: им только дай спички...

— Это ты серьезно? — испуганно перебивает её Толстуха, — Наши казармы совращены Лаурой, и этот пролезший в правительство фюрер просто сходит по ней с ума.

— Есть очень плохие новости, — скорбно произносит вольная каменщица, — новости из Москвы: наша королева тайно вступила в брак! И этот её теперь уже муж как ни в чём не бывало воюет себе на Украине! Воюет против нас!

— Какой ужас... — выливая на булку остатки кетчупа, мямлит, с набитым ртом, Толстуха, — я бы сожгла эту изменницу живьём!.. в этой её университетской мышеловке!.. в её крысином монастыре!

— Мы хорошо понимаем друг друга, — удовлетворённо заключает вольная каменщица.

Теперь им обеим ясно: время пришло. Время тотальной, всепожирающей демократии. Время счастливого самоубийства.

63

Королевский дворец — не место для сомнений: ложиться под поезд набирающего скорость благоденствия или нищенствовать едва только просыпающейся способностью мыслить. Это так мучительно ново, пугающе непривычно: думать самому. Иное дело — иметь у себя в башке нормально

продвинутый, на грани искусственного, куриный интеллект, безошибочно вылавливающий из трясины заученных правил простенький, но всегда убедительный совет: не суйся. С тобой всё заранее ясно: интеллигентный, поддающийся дрессировке скот. Хотя, конечно, не столь сообразительный, как обезьяна. Впрочем, ты уверен, что произошёл именно от неё, умеющей чистить банан не хуже тебя самого. И даже Дарвин, он тоже произошел, увы, от обезьяны.

Но что же творится теперь в королевском дворце? Входная дверь настежь, на мраморных ступенях мягкий турецкий ковёр, хрустальные люстры сияют, портреты монархов таращатся незрячим глазом на слоняющихся по банкетному залу... прохожих. И кто их сюда зазвал? Кто распорядился поставить вместо круглых банкетных столов длинные скамейки, а вместо королевского трона — дубовую, времён Ибсена и Грига, кафедру? Места на скамейках заняты, кто-то сидит на полу, кто-то подпирает плечом мраморную колонну, и у всех на уме одно и то же: увидеть, услышать... Так было и в прошлый раз: слетевшие с кафедры слова тут же впиваются в привычно трусливые, уютно куцые мысли, вдувая в них яркие, каких не увидишь даже во сне, картины, заставляя их чудесно звучать. Правда, не всем удаётся досмотреть и дослушать до конца, не каждый может вынести эту непривычную для себя работу, кто-то клюёт носом, кто-то храпит на плече соседа. Но даже проспавший не уходит из зала пустым, утащив с собой в свою нормальную тьму томительное предчувствие света, а тот, кто так и не заснул, уносит с собой залежи золота.

Среди сидящих на скамьях полно стариков, когда-то в детстве читавших королевскую «Сновидческую песнь» и с тех пор всё ещё ждущих от короля каких-то особых примет... но нет, король пошёл уже не тот. Король — это всего лишь торговый знак, крикливая наклейка на давно уже протухшем товаре, перечёркнутый историей ценник. Давно уже сам не свой, король высиживает отведённое ему на троне время, подпираемый следующим королём, таким же, как он сам, скучно усталым, пустым. Но эта девчонка Лаура врывается в затхлость добродушной с виду тупости словно готовый схлопнуться метеор, и привиредливые старики зовут её промежь себя... королевой. С какой смиренной скромностью она поднимается на кафедру, с каким самоотверженным жаром звучит её тихий, любовно нежный голос. Словно прося у собравшихся позволения им что-то сказать, она подходит к стоящей за кафедрой школьной доске и пишет мелом имена первых хранителей Грааля: Иосиф Аримафейский, Парсифаль... И те на скамьях, кому нет и двадцати, уже готовы пуститься в странствия «сквозь низины», в вечном поиске градалиса, своей устремлённости вверх. Им отказывает в этом школа, их не готовят к этому родители, их брошенные в хаос чувственных влечений юные тела всевластно правят тщедушной душевностью и едва пробивающимся сквозь неё приземлённым духом. Ничто не заменит им собственные, сквозь горести и невзгоды, странствия, но даже отдалённый отсвет Грааля даст каждому силы идти дальше, когда идти уже некуда.

В чёрном платье, с тугим узлом чёрных волос, Лаура не ищет к себе

внимания, но тот, кто на неё теперь смотрит, видит не эту монашескую тень, но своё сокровенное представление о красоте: тайное обращено лишь к тайному.

— В том хаосе, в котором мы оказались сегодня благодаря услугам демократии, — негромко начинает она, — мы едва ли осознаём, благодаря чему у нас всё ещё есть под ногами почва, есть какая-то опора, есть какой-то в жизни смысл. Об этом не пришлось бы размышлять, окажись мы все на одном и том же уровне развития, не отличающем нас друг от друга, хотя ведь даже на одном и том же дереве нет ни одного листа, в точности похожего на другой. Нам следует принять это как основу наших рассуждений: никто из нас не равен другому. И более того, в изначальной основе бытия, в самом импульсе воли Творца заложена необходимость некоего отставания в развитии, необходимость своего рода «резерва питания», без которого у настоящего нет будущего. Отставание в развитии — неотъемлемая часть эволюции, с этим надо смириться и принять это как должное, не пытаясь демократически усреднить болото и горную вершину. Но хватит ли у нас мужества признать очевидный сам по себе факт: вершиной земного развития является белая раса? Именно она, в лучших своих проявлениях, и берёт на себя основной груз эволюции, облегчая ношу всем остальным...

Кто-то аплодирует, кто-то встаёт и уходит, в зале становится жарко. Разве это не расизм? Наука уже доказала, что нет никакой разницы между папуасом и Гёте, а слово «негр» выброшено из всех европейских языков. Какие могут быть расы, если все заняты одним и тем же: добыванием бабла. И если кому-то кажется, что чёрное — это не белое, пусть сходит к глазному врачу. Короче, никаких больше рас, есть только гомо.

— Мы можем назвать точную дату возникновения белой, арийской расы, — уверенно продолждает Лаура, — это год 11542 до Рождества Христова. Полярная звезда, Вега, стояла тогда в созвездии Лиры, в точке летнего солнцестояния был Сириус, в точке зимнего солнцестоягия был Орион, весеннее равноденствие было под созвездием Девы, осеннее равноденствие — под созвездием Пегаса, и тот, кто знает толк в звёздах, уверенно скажет: гороскоп, достойный царей. В отличие от других рас, оказавшихся в дальнейшем развитии тупиковыми, белая арийская раса несёт в себе потенциал бессмертия, будучи призванной познать законы «обмена веществ» между землёй и небом. Именно арийцы и были спасены Ноем от потопа, и сам Ноев Ковчег есть ни что иное как арийские пропорции тела, наиболее подходящего для развития индивидуального мышления. Арийцы построили культуру Индии, Персии, Египта, Греции, и сегодня белая раса строит — в жесточайших условиях — культуру самосознания. Условия эти попросту трагичны: идёт целенаправленная подмена европейского населения, и эта целенаправленность исходит непосредственно от антихриста, намеревающегося остановить эволюцию. А мы-то думаем, что демократически обогащаем себя, принимая миграционный мусор со всего света. Мы принимаем глобалистский дар антихриста. Принимаем порочную добровольность самоубийства. Принимаем яд межрасовых смешений. Ведь

стоит белой расе перестать доминировать в угоду сатанинским демократическим порядкам, и корабль эволюции понесёт прямо на рифы, без руля и без капитана. И то малое, что мы можем сегодня сделать, это выдворить из страны всех неевропейцев, раз и навсегда.

Вместе с другими охранниками Филя стоит чуть поодаль, его дело — следить за порядком. Следить, чтобы те, кого бросило в сон от непривычного напряжения едва только шевелящейся мысли, ненароком не свалились со скамеек. Следить, чтобы не слишком сквозило в чуть приоткрытую дверь. Следить за освещением в наступающих зимних сумерках. Он здесь никем не узнанный, никем не примеченный, он сам по себе. Он думает о своей матери, Инне, не зная, жива ли она, и даже если её уже нет в живых, она всё равно здесь, с ним, и нет такого дня, чтобы он не обратился к ней на единственно понятном ей теперь языке образов, и всякий раз он слышит в себе самом её отдалённый голос. Слышит и теперь: что-то вот-вот должно случиться. Мать по-прежнему опекает своего единственного ребёнка, то и дело забегая чуть вперёд, предупреждая, предостерегая, и голос её так тих, так далёк...

— Прикроем входную дверь, — предлагает он Зигги, — сидеть на полу прохладно, все уже понадевали куртки.

Пройдя к выходу, оба видят, что дверь закрыта, да что там, заперта снаружи, сколько не дергай за медную ручку. Не мешкая, Зигги спешит к чёрному ходу, но и там тоже заперта дверь, хоть бейся об неё лбом. И словно в подтверждение самых мрачных подозрений, из подвала доносится хлопок взрыва, и сквозь проломленный паркет наружу вырывается пламя.

— Спустим людей по пожарной лестнице, — тут же соображает Зигги, — иначе гореть нам всем в этой мышеловке.

В зале пока ещё нет паники, ещё парит над головами радостная уверенность в близости столь трудно постигаемой истины, и это ведь и есть счастье, сознание того, что жил не напрасно, хоть и понаделал столько глупостей, сумев всё же продраться сквозь убогую приземлённость мира вещей. И то, что рядом с тобой кто-то тоже переживает теперь это счастье, растворяет в тебе накипь недоверия и отчуждённости: здесь все теперь — единое целое.

— Быстро встаём и уходим, — настойчиво сгоняет всех со скамеек Зигги, — в подвале пожар, быстро на второй этаж, на аварийную лестницу!

Никто ещё не понял, в чём дело, настроение у всех на высоте, и это, может, всего лишь учебная тревога... но Зигги торопит всех: «Наверх!» Площадка вроде балкона, дальше — спуск... прямо в сугроб. Старики лезут первыми, подбадривая себя мыслью о том, как в пятнадцать лет «уходили в море», тогда как двадцатилетним страшновато, они видели такое только в компьютере... но вот уже кто-то бесстрашно прыгает с нижней ступени...

Их теперь только двое в зале, он и Лаура, свет везде погас, слышно, как гудит в подвале пламя. Высветив фонариком развешенные на стенах рыцарские щиты, мечи и секиры, Филя снимает тяжёлый топор, берёт Лауру за руку, он что-то придумал. Оказавшись возде входной двери, он

прислушивается, но только пламя ревёт в подвале.

— Там, снаружи, толпа, — бесстрастно сообщает он Лауре, — их несколько сотен, они намерены сжечь нас живьём. Но ты ведь солдат, правда?

— Как и ты, — так же бесстрастно отвечает она.

Держа обеими руками топор, Филя вышибает замок, толкает ногой дверь. Оба теперь на виду, и накинутая на плечи лисья шуба едва ли защитит королеву от меткого, из толпы, выстрела. С размаху швырнув топор прямо в толпу, Филя поворачивается к королеве лицом.

— Смотри мне в глаза, — сурово приказывает он, — не отводи взгляд!

В толпе беспокойство: кто первый набросится на обречённую?.. кто решится сорвать с неё вызывающе дорогую шубу?.. сорвать платье и всё остальное?

— Смотри мне в глаза... — чуть слышно повторяет он.

Теперь Лаура понимает, что это смертельно опасно: принять в себя столько солнечного жара, столько любви. Только младенец может удержать в себе эту мощь космоса, эту силу роста, строящую его нежное тело. Но уже состоявшееся, зрелое, тронутое приземлённостью расчёта и страсти, не выдержит и мгновенья, вспыхнув словно сухой лист. И кто же готов добровольно броситься в огонь? Стать частью созидающего великолепия звёздной жизни, влившись в неустанное деяние любви. Лишь тот, в ком есть для этого воля.

— Смотри мне в глаза...

В толпе шорох беспокойства, хихиканье, смех, крики и свист, кто-то стреляет в воздух, и словно сигнал к действию, над головами плывёт долгий, протяжный, отчаянный вой. Теперь им тут, на площади, тесно, все друг другу мешают, толкаются, и ведь у многих с собой длинные кухонные ножи. Хихиканье становится азартным визгом, кого-то сбивают с ног... и вот наконец запах крови. Теперь уже неважно, кто начал первый, теперь все заодно, все против всех. В сладострастном угаре убийства выкалываются глаза, вырываются языки, откусываются носы и уши... и те, что пока ещё уцелели, пытаются залезть на деревья и тут же срываются вниз в необъяснимом, всепожирающем страхе, и вот наконец последний, споткнувшийся о чью-то отрезанную голову...

— Что это было? — еле слышно шепчет Лаура, всё ещё не отводя взгляда, и по её бледным щекам катятся слёзы.

— Это было будущее, — издалека отзывается Филя, — сила нерождённости, сила любви! Встречая зло, эта созидающая сила становится разрушающей, становится гневом и местью, ведь зло не признает добро. «И бесы побежали от алтаря». Пока никто ещё не уяснил, что происходит, бесы чуят загривком: дальше хода нет. Бесы — это ведь чёрная магия лжи, одолеть которую не может никакое в мире оружие. Бесов гонит прочь лишь белая магия сердца. Магия будущего.

Не вытирая слёзы, Лаура продолжает смотреть ему в глаза, и наконец с восхищением произносит:

— Теофил, король Грааля.

В подвале снова грохот, рушится стена... но вот наконец и пожарные. Оглянувшись на охваченный огнём королевский дворец, оба спешат прочь, пока ещё не зная, куда.

64

В казарме теперь тесно, солдаты привыкают к будущему украинскому некомфорту, куда их гонит обещанная им посмертная слава. Пусть скажут о них потом: эти олухи. Зато именно они-то и спасут Европу от... да какая разница, от кого её, полуживую, спасать, тут важен сам принцип: даёшь хотя бы полуевропу, но без России. Принципиальный солдат не уступает дрессированной таможенной крысе, чей нюх на наркотики перебивает вожделение к сыру. Скажут мочить каждого, кто не шарит на мове, и солдат старательно мочит, мочит... и не потому, что сам на этой мове шарит, а только из принципа. Потом про него скажут: он так старался.

— Вижу, вам всем уже надоело жить, — скидывая с плеч чернобурку, вызывающе усмехается Лаура, — гробы уже заказаны, места на кладбище зарезервированы. Езжайте! И пока вы будете там, Толстуха ангажирует мигрантскую шваль, и те подожгут ваши дома, как только что подожгли королевский дворец, а если этого окажется мало, Толстуха распорядится насчёт гостевых американских солдат, и те наведут свой порядок, включая тотальное затыкание всех болтливых ртов. Но у нас есть ещё национал-социалисты, есть фюрер! Так стоит ли вам куда-то ехать?

Её слушают с молчаливым недоверием, тут ведь не дураки, которым плевать на принцип, тем более, что посмертный аванс уже выдан. Другое дело, если у королевы найдётся лишняя мелочь... ну что ей, королеве, стоит перекупить у Толстухи таких покладистых, принципиальных смертников? Это же сплошь уважающие себя парни, ни один из них не позволит себе умереть бесплатно.

— У фюрера нет денег, — наконец произносит кто-то, — ни один банк не даст ему взаймы, его иноходцы резвятся за свой счет.

— Мы не нацисты, — добавляет другой, — мы едем защищать демократию!

— Королева нас предала, пусть откажется от королевского титула! — кричат уже со всех сторон, — Спуталась с нацистскими свиньями! Лаура, уходи!

Только теперь она замечает, что при ней нет охраны. Но за спиной у неё молча стоит Филя, готовый, если что, стрелять. Ему ведь не всё равно, о чём тут болтают, к тому же времени на сомнения нет, он должен помочь Лауре решиться... решиться показать остальным свою волю, несоразмерную ни с каким иезуитским принуждением. Эта воля должна проснуться, стать

осознаной, увлечь за собой мысль. И уж тогда... тогда бесполезно закрывать глаза и затыкать уши: каждый находит эту волю в себе самом.

Взгляд Лауры впивается в каждого, от него никуда не деться, он словно прожигает насквозь сомнение и трусость, обнадёживая спокойной, самоуверенной радостью. Может, эта Лаура и есть настоящая, всамделишная королева... быть может, последняя.

— Вас здесь не одна сотня, — уверенно произносит Лаура, — и все вы добровольно идёте на смерть, толком не зная, ради чего, все вы уверены, что так будет лучше... но кому? Среди вас нет ни одного негра, ни одного азиата, Толстуха бережёт их на случай предстоящей войны с вами, когда вас останется совсем немного. И теперь у каждого из вас есть шанс вывернуться из надетой на вас петли и больше в неё не лезть. Ступайте домой, в кто готов идти со мной, пусть станет рядом!

К ней тут же подходят двое, ещё один... её окружают со всех сторон, толкаясть и теснясь... все до одного! Какой долгой была их жажда, как безнадёжно они голодали, начиная уже помышлять о самоубийстве, лишённые воли к пониманию происходящего. Им объясняли не раз, что свет бывает лишь искусственный, что за него надо платить, а главное — экономить. В своей коллективной полутьме каждый старался лишь для себя, и всем было плевать, хорошо кому-то или плохо. Именно эту демократию они и поклялись защищать от... самих себя. Поклялись ещё не прожитой, но такой уже скучной жизнью.

Пришёл наконец Зигги и с ним вся охрана, их снова вместе с Филей двенадцать. Усталые, пропахшие дымом и гарью, они не прочь и тут пробиться к аварийной лестнице.

— Идём брать Толстуху, — деловито распоряжается Лаура, — особняк охраняется, но нас теперь много, а иноходцев ещё больше, и уже завтра премьером станет фюрер.

— Как же так... — растерянно мямлит Зигги, — без всякого полицейского уведомления?.. без ордера на арест?

— Это революция, — спокойно поясняет Филя, — сегодня, сейчас.

Снаружи метель, в витринах блестит звёздная мишура, Рождество.

65

Пахучие ветки можжевельника, белые розы, неспешно горящие свечи, круглый стол под хрустальной люстрой. Гостей немного, но все они словно родня друг другу, хотя прибыли, кто откуда. Они долго тащили на себе груз разобщённости и уныния, рискуя слиться однажды с собственной тенью, но никто из них так и не признал власть коммерческого мифа о шести миллионах, мифа о злодее Гитлере. Это затаённое, упрямое чувство истины

объединяет их крепче всякой идеологии, крепче посюстороннего комфорта власти.

Что делать им теперь с этой страной, отколовшейся от тонущего материка демократии? Строить, теперь уже сознательно, новый ковчег, на котором уже не «каждой твари по паре»? Ковчег для нищенствующих духом.

В стране всё ещё много денег, и надо их срочно раздать отъезжающим, гоняя по всему глобусу набитые до отказа самолёты. Много в стране и демократически содомистского мусора, а уж дуракам-то и счёт потерян. Или начать прямо с дураков, обучая их ходить прямо и не прикидываться потомками обезьян, заодно вышибая из их пустой башки искусственный интеллект. Дурак ни за что не полезет в спасительный ковчег, и надо отдать ему должное: пусть тонет... или всё же спасать?.. спасать или не спасать?

У фюрера есть королева, а он есть у неё. И пока это так, демократия обвисает ветхими лохмотьями на своих подгнивших опорах: примитивных обезьяньих мифах. От этих мифов разит застарелой иудейской похотью, объезжающей все нормы приличия, и это придаёт мифу особую историческую сладость. И разве кто-то посмеет разбить вдребезги правящую миром ложь, с таким мастерством втемяшенную в набитые идеологической жвачкой головы? Кто пойдёт дальше собственной смерти?

За столом поют старые немецкие песни, вот так, по-домашнему, всё ещё помня, что это австриец Гайдн, у которого учился австриец Моцарт, и дал немцам по-детски чистый мотив «Германии», которая превыше всего. Не пора ли демократии запретить старика Гайдна? Да заодно и Моцарта, завладевшего, назло раввинам, волшебной флейтой. Запретить сам этот германский дух, что от сердца к солнцу. Да просто назначить Моцарта негром, пригнать на Рейн тупую, со всего мира, биомассу, воздвигнуть бетонные писсуары жертвам холокоста. Но пока у фюрера есть королева, а он есть у неё, демократия пятится в свой заплёванный стадным эгоизмом угол, и так ей охота за себя отомстить...

Один из приглашённых немцев присаживается к роялю, и медленный вальс таинственно просачивается в рождественское настроение вечера, неся с собой сладкую боль тоски о любви и близкой теперь уже весне.Так много в жизни смысла, так достойна она, чтобы её прожить, здесь, на земле, в неотступности страданий и потерь. Страдание обнажает контуры истины, боль учит смирению и терпению. И тот, кто это понял, тот знает: жизнь от рождения до смерти втекает в жизнь от смерти до рождения. В этом медленном вальсе — благодарность за всё, что уже прошло, что стало выпорхнувшей из клетки птицей. Куда ей теперь лететь?.. где вить гнёзда?

В тёмно-голубом декольте, Лаура кажется невесомой, нездешней, прозрачной, в её руке, лежашей на плече Фили, дышит весной белая роза. Кто из них ведёт другого в этом таинственном медленном вальсе? Воспоминания проглотят этот декабрьский вечер и эту тоску о любви, и лишь за порогом прожитой жизни придёт наконец ясность: всё было так, как и должно было быть. Ранние зимние сумерки в темно-голубых, под густыми

бровями, глазах, Лаура уже всё знает, она готова...

— Я уезжаю, — спокойно произносит он.

Вальс завершает своё медленное круженье, бесследно уходя в тишину, и тут же всё начинается снова... снова и снова. И самое таинственное заключено как раз в этом мгновении тишины, незримо соединяющем конец и начало.

— Когда? — так же спокойно произносит Лаура.

— Сейчас.

Смахнув ладонью с её щеки слёзы, он молча идёт прочь.

66

Добравшись на третьи сутки до Белогорок, он смотрит в растерянности на мёртвый, мрачный пейзаж, не узнавая ни домов, ни улиц. Развалины, руины, бездорожье. Дойдя до своего дома, он высматривает хоть какие-то признаки жизни, но стекла выбиты, дверь настежь, сад перепахан гусеницами танков, возле курятника куча окровавленных перьев. Один только кот, независимо ни от чего промышляющий мышами, выходит Филе навстречу, простуженно мяукая. Забив окна фанерой и затопив в доме печь обломками садовой скамейки, Филя находит в кухонном шкафу банку сгущёнки, явно забытую мародёрами, и кот тут же присоединяется к пиршеству. Кот не скажет, где теперь мать, жива ли, и короткий зимний день не обещает даже встречи с соседом, да вот уже и темно. Положив на пол возле печки матрас, Филя втаскивает под одеяло кота, и тот заводит свою монотонную, навевающую сон песню.

Ночью на кухню неслышно заходит … Лаура. Она не одна, с ней — его мать, Инна. Обе садятся на пол возле постели, он слышит их голоса, зная, что сам в это время спит. Ему снится, что он спит, изо всех сил желая проснуться, сбросить с себя тяжесть бездействия, открыть глаза... но силы оставили его, и он в отчаянии зовёт на помощь мать: «Разбуди меня, мама, разбуди...» Но мать его не слышит, не слышит и Лаура. Обе так близко, и так недоступно далеко. Наконец ему удаётся придти в себя, и словно себе в утешение он мёрзло произносит:

— Я вытащил тебя из подвала твоей королевской тюрьмы, теперь ты на воле и можешь идти куда хочешь, я для тебя не клетка. Что можешь ты без меня? Что могу я без тебя? Дальше каждый должен идти один, испытывая себя на прочность, иначе мы рискуем повиснуть друг на друге, стать друг для друга обузой. Не привыкать, не притираться друг к другу, не держать другого на привязи. И не надо звонить, писать, домогаться, просто отпустить на волю и посмотреть, что будет дальше.

Один только кот слышит эти слова, но ему всё равно, в доме есть мыши, и кот мурлычет, мурлычет...

Уже на следующий день, добравшись до военкомата, Филя просится на фронт, так и не узнав, где теперь его мать. Его место там, на самом краю, где всем хочется одного и того же: жить. Ходить, дышать, быть... стать. Жить наудачу, назло, ведя счёт метким попаданиям в движущуюся тебе навстречу цель, сам будучи целью. И то, что таинственно звучало ещё вчера, наколдовывая мысли о счастье, должно пройти пробу, проверку, или совсем уйти, навсегда.

Вернувшись в медчасть, он застаёт фельдшера в перевязочной, и тут же при нём собака, смотрит, как он бинтует ногу. Ткнувшись мордой Филе в колени, она улыбается, показывая крепкие белые клыки, в желтоватых глазах — любопытство и осторожность. Обернувшись, фельдшер будто бы и не удивлён, лишь коротко кивает.

— Я уж тебя заждался, — он трясёт руку Фили, — начал уже сомневаться, жив ли, но ты, как я вижу, жив. Собаку вот завёл, вытаскивает раненых с позиций, предупреждает, если что-то сюда летит...

— Да не собака это, а волк, — уверенно замечает Филя, — волчица!

— Допустим, что так, — смущённо произносит фельдшер, — волк на войне даже лучше собаки, нашёл в лесу щенка, воспитал. Какая красавица выросла! Зовут Вега. А ты, давай, приступай к работе, вон сколько раненых.

Перехоля от койки к койке, Вега позволяет каждому чесать себя за ухом, клянчит сухарик, улыбается. Эта бескорыстныя волчья улыбка, обезболивающая раны, обещающая скорое выздоровление. Волк знает: все вместе, в стае, не пропадём, и это горячее чувство общности ставит раненых на ноги быстрее дорогих лекарств. Среди ночи Вега идёт «на дело», безошибочно вынюхивая своих, тащит волоком полуживого солдата, тот даже не может снять у неё с шеи фляжку с водой. А ближе к рассвету волчица забирается к Филе на матрас и растянувшись во всю длину, суёт морду ему подмышку. Волк понимает, что в человеке творится, какая а нём боль и тоска, и волк готов вместе с человеком выть. Когда смерть дежурит рядом, когда только мёртвые знают, что надо теперь делать, когда каждый становится чужим самому себе, кто-то ведь должен задать самый страшный, запретный вопрос: доколе? И ответ ещё более страшен: так всё теперь и будет, долго. Целый народ воюет сам с собой, увязая в своём эгоистическом пристрастии к внешней, отупляющей, завораживающей разум истории. Ведь это не вчерашний день является причиной дня сегодняшнего, это дух времени проносится вихрем над сонным миром слабеющей в безволии мысли. Лишь мёртвые знают, где выход из хаоса тьмы, но кто их, мёртвых, слушает... К войне привыкнут, её полюбят, сделают священной. И никто же решится сказать, что война — всего лишь болезненное затемнение души.

Привалившись к Филе тёплым боком, волчица сдавленно подвывает всякий раз, когда неподалёку взрывается снаряд, и Филя гладит её жёсткий загривок, она такая верная, Вега. Она позволяет ему думать о Лауре. Думать о наваждении, отнимающем у него благо безвестности и одиночества, думать о неизбежном разрыве с тем, что уже состоялось и стало нормой. И тихий,

едва различимый в душе голос ангела спокойно и нежно напоминает: «Ты потеряешь всё, что имеешь сейчас». Это как раз та необходимость, обойти которую невозможно: необходимость скачка. Пройден один круг, начинается следующий, но между ними — ничто, пустота, в которой как раз и совершается самое важное: работа в духе.

Узнает ли он себя?.. узнает ли себя Лаура?

Так проходит два года.

Война движется дальше на запад, оставляя за собой усталость потерь и побед, и самое а ней странное, что кто-то должен вернуться домой... живым.

Уже издали Филя видит новый забор, сверкающие на солнце стекла окон, заново перекрытую шифером крышу. И словно в подтверждение того, что всё это всерьез, на пороге появляется мать, идёт, опираясь на палку, в сад. Она вовсе не ждёт его, и сам он смирился, с тем, что её больше нет.

67

Он смотрит, как она наклоняется над грядкой, выдёргивает лук, поправляет на лбу косынку, идёт, прихрамывая, в дом. Может, она смирилась с неизвестностью, став ко всему равнодушной, бесчувственной. Никто не готов стоять у гроба своего ребёнка, стоять у гроба своей матери. Хотя ведь мёртвые по-прежнему здесь, в чувствах и воле живых, только обращённое к внешним предметам сознание живого этого не воспринимает, слепо проходя мимо. И пока это так, пока мёртвые разлучены с живыми, истощается воля к самой жизни, затемнённая зависимостью от вещей. Но вот, оказывается, все живы, все дома. Приготовлен обед, постелена постель, и болтливый телевизор в который раз обещает комфорт и счастье, счастье и комфорт...

— Война окончательно сдвигает жизнь в сторону экономики, валит жизнь на бок, — отвечает телевизору Филя, — и это как раз то, чему научили мир жадные до чужого добра англичане: тотальное, безостановочное производство. Усердно выполняя эту англо-американскую программу, русские пишут себя в мире с большой буквы, и почему бы и нет. Но что во всём этом, собственно, русского? Да ничего. Идёт лишь встраивание русских в общеевропейскую, агрессивно материалистическую цивилизацию, вздувающую мыльные пузыри идеологий из-за отсутствия у людей какого-либо интереса к подлинной, духовной действительности.

— Но разве война -это не действительность? — уверенно возражает Инна, — П сотни тысяч смертей?

— Война — это всё то же внешнее производство, заслоняющее собой нечто куда более важное, чем даже победа: взросление души или же её деградацию. Война создаёт иллюзию движения, при этом будучи всего лишь накоплением одного и того же, разрушений и потерь. Война — всего лишь

видимость, майя, под покровом которой неустанно трудится дух, о котором никто не желает ничего знать, и этот дух и есть действительность, силовое поле событий. Действительно лишь то, что само по себе способно к росту, вверх или вниз, в согласии с духом времени. Тогда как нежелание и неспособность внимать духу времени плодит громогласность и пустоту идеологий. Сегодня дух времени молчалив и никого не принуждает следовать за собой, он только ждёт, он терпелив, и если кому-то удаётся до него дотянуться своим разумением, дух времени вливает в него могучие силы. Жить сегодня в духе времени, значит, поднимать самого себя за волосы из болота, возвращать себя к действительности.

— Сегодня только жить да жить, — мечтательно произносит Инна, — зарплаты высокие, в магазинах всё есть, а сколько строится везде высоток...

— Всё это, бесспорно, впечатляет, — соглашается Филя, — нигде в мире такого строительства нет, это успокаивает людей, даёт им повод для гордости. Сами же они при этом не прочь отнять у тех же англичан последнюю в море селедку, и жизнь покажется ешё веселее, гордость перехлестнёт через край: пусть другому станет хуже. Разве в школе, где ты директор, подростки не избипают на уроках учителей? — с усмешкой добавляет Филя, — Разве второклассников не готовят стать операторами боевых дронов? Разве русский язык не сползает в трясину дешёвой подражательности американскому «деловому стилю»? Язык, как звучание народной души, всюду вытесняется бездушными поделками машинного, и стало быть, демонического интеллекта. Ещё немного, и живой учитель станет редкой экзотикой, доступной лишь богатым, тогда как остальным придётся коротать школьные годы в инвалидном компьютерном кресле. Детям не на что, кроме как на экраны, смотреть, нечему, кроме как делать бабло, учиться, некуда, кроме как в подворотню, расти. И если где-то вспыхивает вдруг милосердие и сострадание, их тут же стирает пошлое «искусство» бездарной и глупой элиты, разумеющей лишь язык денег.

— Но у нас есть «Лебединое озеро»... — хмуро возражает Инна.

— Чайковский услышал в Германии мотивы «лебединого замка», Шванештайна, услышал отголосок вагнеровской драмы Грааля, и это — сознательный опыт приобщения русской души к христианской мистике Европы. Эта «лебединая» мистика сердца оплодотворяет ожидающую её русскую душевность, даря ей лебединые крылья. Но что же сегодня? Танец маленьких лебедей навевает русским сладкие грёзы, оставляя повседневное сознание замусоренным сиюминутной идеологией. Мы не способны принимать всерьёз лебединую драму, в которой мы сами неосознанно благоденствуем под крылом чёрного лебедя-злодея. Мы сами пока что бескрылы, и откуда нам самим эти крылья взять? Загнать до кровавой пены экономику?.. построить ещё больше высоток?

— Всё, что нам нужно, у нас уже есть, — уверенно отвечает Инна, — мы не нуждаемся ни в ресурсах, ни в подсказках со стороны, и уж тем более, в содействии вялой, развратной, истощённой Европы.

— Как бы нам не хотелось в это верить, дело обстоит совсем не так, кое в чём мы всё же нуждаемся, чего сами себе дать не можем.

— И в чём же это мы нуждаемся? — язвительно перебивает его Инна, — Наши запасы нефти неистощимы, нашим ракетам нет в мире равных!

Усмехнувшись, Филя молчит. Он давно уже свыкся с тем, что никто просто так не расстается со своей слепотой. Её оберегают, ею гордятся и даже отдают за неё жизнь. И надо поэтому ждать, даже когда нет надежды дождаться.

— Что бы мы стали делать сегодня, если бы в своё время Петр Великий не научил нас строить корабли и лить пушки? И сам он этому научился у германцев, а без них так бы и парился под царской медвежьей шубой. Тайна России состоит как раз в том, что это область получающая, воспринимающая, берущая, и ничем иным она быть не может и не должна быть. Тогда как стороной дающей являются германские народы, прежде всего немцы. Таков порядок вещей, таким его сочли нужным сделать высшие космические силы. Русские всегда воспринимали и ещё долго будут воспринимать новое от германцев, всасывать в себя, делать своим и уже как своё развивать дальше сообразно своей душевной одарённости. Русские и германцы — это две стороны единой культуры будущего, культуры Самодуха, и последние сто лет между ними усердно вбивается клин: двумя мировыми войнами и сегодняшней украинской, и этот клин яростно всаживают в посюстороннюю реальность изголодавшиеся по свежей крови и природным ресурсам англичане. Своим колониальным эгоизмом, помноженным на чёрномагическое интриганство тайной дипломатии, они располагают к себе затаившегося в недрах земли антихриста, и он диктует им план за планом, один глупее другого, тогда как цель этих планов одна: пресечь распространение немецкой духовной науки, не дать ей быть принятой всерьёз, быть усвоенной русскими. А без неё все будут и дальше жить ради комфорта, денег и войн, не подозревая о скрытых услугах антихриста.

— Если нам такая наука когда-то и потребуется, — наставительно произносит Инна, — мы сами уж как-нибудь её разовьём и без немцев. Да и что это за наука такая, духовная?

— То, что мы сегодня считаем наукой, держит нас в плену наших органов чувств и обслуживающего их рассудка. Эта наша наука говорит нам, что каждый рождается «чистой доской», на которую внешняя жизнь записывет те или иные качества, так что ничего своего никто в эту жизнь не приносит, будучи полностью зависим от внешнего окружения, ни у кого нет собственной, из прежних жизней, истории. Как раз этого и добиваются в течение столений англосаксы: сделать науку бездуховной, односторонне уткнувшейся в материю, отвратить науку от самого человека, от его высшей, нерождённой сути. Такая наука пересаживает людям сердце свиньи, делает детей в пробирках... это же всё англосаксонская программа, и мы, сами того не зная, только ею сегодня и заняты. Вернув себе Киев, мы, победители, остаёмся по-прежнему в услужении у англосаксов, думая их куцыми материалистическими мыслями, вознося экономику выше своей же

сокровенной, божественной глубины, превращая свою душу в выжженную пустыню. Самим нам из этой англосаксонской ловушки не вырваться никогда, не хватает... сердца.

— Это у русских-то не хватает сердца? — возмущённо произносит Инна, — А русская щедрость?.. широта?.. доброта?

— Есть русская душевность, она уникальна, но ведь и её нетрудно ввести в заблуждение несложными уловками идеологов. Сердечность же — это нечто другое, это верность сознательно усвоенной истине, мужество ей следовать. Душевность русского — это беспрестанная возбудимость чувств, широкий разворот, шквал, бесшабашность, обвал. Тогда как сердечность обращена к организуюшим ритмам космоса, к гармонии «золотой середины», к самодостаточности «львиного» мужества. Сердечность — качество немцев, их дар, их великая драма, их призвание. От сердца тянутся незримые нити к солнцу, к Христу, и русские смогут стать народом Христа только через излившуюся из немецкого сердца духовную науку. Иного будущего у России попросту нет. И сегодня дело не в том, сколько у нас ещё осталось газа и нефти, но в том, хватит ли у немцев сил донести до нас свой духовный импульс, собственно, импульс Христа. И я не вижу для себя иного применения, кроме как содействовать этому, я должен быть там, откуда придёт эта весть.

— Ты хочешь уехать? — испуганно произносит Инна.

— Я уже написал отцу.

Теперь каждый день — расставание, но также и благодарность: мы всё ещё вместе. Миг безутешной материнской тоски: не уезжай...

68

Не заскочив к отцу, Филя спешит в Березовку, заранее готовясь уйти ни с чем. Что он для Лауры? Что она для него? Два года войны убили в нём наслаждение жизнью, погасив последние остатки личного, себялюбивого, дав взамен холодную невозмутимость и безразличие к боли. Без страха и без страсти. И вот эта березовая аллея, уже зеленеющая под холодным апрельским дождём.

Вахтёр его помнит, пропускает, не задавая никаких вопросов. Во дворе полно машин, монастырский дом ярко освещён, возле крыльца солдаты. Он видит Зигги, и тот козыряет ему, и Филя, хоть и не в военной форме, отвечает тем же. Он тут по-прежнему свой. Среди гостей много немцев, это создаёт настроение: пора уныния и позора миновала, Германия, как была, так и будет превыше всего. Улыбнувшись, Филя идёт в гостиную.

Солнечный блеск хрустальной люстры, вазы с цветами, шампанское на круглом банкетном столе. Праздник, обходящийся без его присутствия. Хотя и

раньше он был здесь всего лишь мимолетным гостем. Умчавшись неизвестно куда, он снова здесь, готовый выдержать придирчивый взгляд вчерашнего дня. Готовый спокойно уйти прочь, не расставаясь при этом с данным им судьбе обещанием принадлежать Лауре. Принадлежать в тех высях свободы, где каждый пронизывает собой другого, оставаясь верным своей, и только своей судьбе. И хотя прошлое по-хозяйски устраивается в настоящем, зазывая в сегодняшний день сладкую вчерашнюю ложь, навстречу ему выступает уже беспокойство будущего, которому мало того, что уже есть. Покорный внешним обстоятельствам, рассудок настроен только совершенствовать уже достигнутое, превращая зыбкий пейзаж жизни в полностью предсказуемую игру, чего как раз и желает, затаившись вне времени, антихрист. Ничего нового, никаких перемен, больше того же самого. Лишь то, что принадлежит солнцу и скрыто у каждого в сердце, сопровождающее всякую судьбу нерождённое, космическое Я, и взламывает скорлупу настоящего, внося в него потребности будущего. Строгий хозяин судьбы, предъявляющий ей в конце концоа свой счёт.

Он видит Лауру, прохаживающуюся среди гостей вместе с фюрером, и сдаётся ему, что это их праздник. Она в том же, что и два года назад, тёмно-голубом весеннем платье, словно тот далёкий вечер всё ещё продолжается, и на её бледном лице — усталость и беспокойство. Можно уйти незамеченным, запомнив напоследок строгую линию её прямых плеч, прозрачность тонких, мускулистых рук, весну пронизанного волей взгляда. И теперь он только смотрит, смотрит... Это такая привилегия, быть никем не замеченным, быть посторонним.

Стоя возле напольной вазы с белыми лилиями, Лаура горделиво оглядывает собравшихся, словно принимая воинский парад, она хозяйка на этом празднике.

— Начиная с завтрашнего дня, — уверенно произносит она, — в этой стране не будет ни королевы, ни короля, не будет королевского семейства, паразитирующего на недомыслии пока ещё сытого населения. Не будет дорогостоящей показухи «единства нации», при котором один объедает сразу несколько тысяч. Не будет передаваемого по наследству права на праздность и полную неприкосновенность, включая защиту от всякой публичной критики. Не будет задающего тон пресмыкательства перед всемирной банковской шайкой, не будет в конце концов осточертевшей всем лжи о гитлеровских газовых камерах. Я больше не королева, но просто Лаура, и это моё свободное решение, моя последняя, если хотите, королевская воля. Я оставляю себе этот монастырский двор и право владения университетом Грааля, что в бывшем королевском дворце, отремонтированном после пожаоа, при этом сто миллионов моей королевской зарплаты уходит в казну. Я делаю это совершенно сознательно, намереваясь постепенно врабатывать в социальность идею трехчленности, с её равенством всех в правовой жизни, свободой в духовной жизни, братством в производстве. Теперь наконец мы сможем отделаться от ненужного нам общеевропейского кагала, надиктованного чуждым Европе, порочным менталитетом ростовщика,

отделаться также от военных атлаических связей, вступив наконец в естественную добрососедскую связь с Россией...

Все, кто теперь здесь, аплодируют стоя, хлопают пробки шампанского, со всех сторон слышатся восхищённые крики: «Лаура! Лаура!» И Филя мысленно повторяет следом за ними: «Лаура!» Она сумела прорвать завесу навязанного ей судьбой бездумного благоденствия, завесу королевского безразличия к надрывающейся в своём выживании жизни, завесу комфортно снотворной лжи.

Невозмутимо кивая всем, Лаура берёт фюрера за руку, словно передавая ему свои королевские полномочия. Она победила, отказавшись от самой себя.

Внезапно она замечает среди собравшихся Филю, идёт прямо к нему, не слыша больше ни криков, ни аплодисментов. Идёт сквозь ожидание и тоску, смирение и безнадёжность. В своей невесомой прозрачности, в своём обжигающем холоде.

— Нерождённый, — тихо произносит она, стоя в нескольких шагах от Фили, — добро пожаловать домой, в замок Грааля.

Ещё не утихли аплодисменты, на столе ещё есть шампанское, и старый, за восемьдесят, немец садится к роялю, он помнит кое-что из прошлого, да, этот медленный вальс.

Жизнь уходит в воспоминания, становится в них прекрасно далёкой, почти чужой, пока наконец не сотрётся и это, уступая благодарности за всё, что прошло, ведь сама эта благодарность и есть любовь. Белая роза в лёгшей на плечо руке. Пока еще живёт этот медленный вальс, растворяя в мечте огрубелость мгновенья, можно спросить судьбу, всё ли в ней состоялось, всё ли успело прийти.

— Пойдём наверх, в башню, — тихо, словно издалека произносит Лаура, — сегодня ясная звёздная ночь. Там, наверху... — она внезапно замолкает, и Филя слышит в себе продолжение ей слов: так и должно было быть.

Взвивающаяся к башне винтовая лестница, цветные стёкла готических окон, бронзовая зелень вделанных в кирпичную стену подсвечников, чуть приоткрытая дверь спальни. Здесь не ночуют гости, лишь привыкший к тишине кот осторожно пробирается вовнутрь, ему это можно. Лаура не спешит открыть перед Филей дверь, словно сомневаясь, стоит ли... и сам он ещё не решил... Тут дверь подаётся, чуть скрипнув, и рослая толстощёкая баба выглядывает, приложив палец к губам: «Тише!»

В спальне темно, сбоку от широкой постели две детские кровати, под одинаковыми пуховыми одеялами — близнецы.

— Твои сыновья, — кротко поясняет Лаура.

Он смотрит на них, он ведь и раньше что-то о них знал, на их долгом пути к этой взметнувшейся к звёздам башне. Они оба выбрали его, они его нашли.

22 июля — 27 декабря 2024